

ПРОДОЛЖЕНИЕ
МИРОВОГО БЕСТСЕЛЛЕРА

1794

РОМАН

18+

НИКЛАС НАТТ-О-ДАГ



Никлас Натт-о-Даг 1794

Серия «Микель Кардель», книга 2

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66850133

Н. Натт-о-Даг. 1794: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»;

Москва; 2021

ISBN 978-5-386-13732-8

Аннотация

Молодая девушка зверски убита в брачную ночь. В страшном преступлении подозревают ее мужа-дворянина. Однако мать несчастной не верит в обвинения и просит о помощи однорукого Карделя, рядового полиции нравов. Расследование возвращает его обратно в темную бездну Стокгольма, и он обнаруживает, что город еще более опасен, чем когда бы то ни было.

Содержание

Лица, действующие и упоминаемые в романе «1794»	6
Часть первая. Кладбище живых	9
1	10
2	25
3	31
4	40
5	46
6	52
7	59
8	67
9	75
10	83
11	93
12	104
13	112
14	119
15	125
16	128
17	133
18	142
19	146
20	150

21	153
22	159
23	161
Конец ознакомительного фрагмента.	167

Никлас Натт-о-Даг 1794

Niklas Natt och Dag
1794

© Niklas Natt och Dag, 2019. Published by agreement with
Salomonsson Agency

© Штерн С. В., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа
Компаний «РИПОЛ классик», 2021

* * *

*Ты слышишь тихий тревожный звон?
То звенит не бокал,
Оглянись: за спиною твой друг, и он
Достал из ножен кинжал¹.*

Карл Микаель Бельман, 1794

¹ Переводы стихотворных текстов – С. Штерн.

Лица, действующие и упоминаемые в романе «1794»

Жан Мишель Кардель, попросту Микель, унтер-офицер артиллерии. Списан с флота после Роченсальмского сражения, в котором потерял руку. Устроился палтым, рядовым полиции нравов, – работа, выполнять которую ему не позволяет совесть и доброе сердце; предпочитает подрабатывать вышибалой в кабаках.

Сесил Винге – бывший юрист, до прошлого года нештатный сотрудник полиции, умер от чахотки.

Анна Стина Кнапп – разносчица фруктов в предместьях Мария и Катарина, потом узница Прядильного дома, откуда ей удалось бежать. С зимы 1793 года работает в кабаке «Мартышка». Живет под именем умершей дочери хозяина кабака: Ловисы Ульрики Бликс.

Исак Райнхольд Блум – секретарь полицейского управления, поэт, ученик аф Леопольда, чье влияние очень заметно в его стихах.

Юхан Кристофер Бликс – ученик фельдшера из

Карлскруны; перед тем как покончить жизнь самоубийством, сочетался фиктивным браком с Анной Стиной Кнапп и дал ей свое имя.

Петтер Петтерссон – старший надзиратель в Прядильном доме.

Юнатан Лёф – палът, надзиратель в Прядильном доме.

Дюлиц – беженец из Польши; торговец живым товаром.

Густав III — Божьей милостью король шведов, йотов и венедов; убит на балу в опере в марте 1792 года.

Густав Адольф – единственный сын Густава III, формально король, но до сентября 1794 года, когда он достигнет совершеннолетия, страной от его имени управляли другие.

Герцог Карл – младший брат короля Густава, опекун несовершеннолетнего короля. Любит пользоваться преимуществами власти, но весьма неохотно несет ее бремя.

Густаф Адольф Ройтерхольм – барон, пользуясь неограниченным доверием герцога Карла, фактически управляет королевством. Враг убитого короля. Главная забота – как можно быстрее стереть следы правления Густава III.

Густаф Мориц Армфельт – фаворит Густава III, последняя надежда густавианцев: после раскрытия его заговора против регента вынужден бежать из страны.

Магдалена Руденшюльд – фрейлина двора, когда-то ее домогался герцог Карл. Любовница Густафа Морица Армфельта, арестована за участие в заговоре.

Карл Тулипан, по прозвищу Тюльпан, – владелец кабака «Маргышка»: охотно признал в Анне Стине Кнапп свою умершую дочь, по которой очень тосковал.

Магнус Ульхольм – полицеймейстер Стокгольма с декабря 1793 года, когда сменил сосланного в Вестерботтен Норлина; известен тем, что разграбил так называемую «вдовью кассу» церкви. Преданный и добровольный пес регентского режима.

Карл Вильгельм Модé – гофмаршал, управляющий королевского двора, один из влиятельнейших людей королевства; предан барону Ройтерхольму.

Мастер Эрик – зловещее прозвище плетки, которой старший надсмотрщик Петтер Петтерссон избивает узниц Пряильного дома.

Часть первая. Кладбище живых

*Как часто сила с преступленьем ходят парой!
Кто разорвет злоеций их союз?
Не знаю и ответить не берусь,
Коль нет небес, грозящих вечной карой.*

Исак Райнхольд Блум, 1794

Зима 1794

1

Кончается январь – первый месяц нового, тысяча семьсот девяносто четвертого года.

С утра меня разбудили, велели одеться и выпроводили из палаты: пора выкурить спертый воздух можжевеловым дымом и опрыскать пол прокисшим вином. Сказали, лучшая защита от вредоносных миазмов.

Я неохотно натянул брюки и надел пальто – Господи... как на вешалке. Плечи настолько похудели, чтовшитый рукав свисает на несколько дюймов. Спустился по лестнице, впервые за несколько недель вышел во двор и оцепенел.

Роскошное снежное царство. А в моем-то узком окне виден лишь жалкий его лоскуток. Листья давным-давно опали, но зима с лихвой возместила нанесенный ущерб. Свежевыпавший снег одел голые ветви в поистине королевские наряды. Белоснежные мантии деревьев задрапировали землю, насколько хватает глаз. Капризное зимнее солнце не признает никаких других цветов, кроме белого, белого и еще раз белого. Я зажмурился, но и этого оказалось мало. Пришлось прикрыть глаза ладонями.

Больные бродили по двору, чертыхаясь на чем свет стоит, – январскому холоду легко преодолеть жалкую оборону ветхих больничных одежек. Правда, ноги, хоть и замерзшие, все же сохраняют достаточно тепла – а жаль. Потому что на-

бившийся в башмаки снег немедленно тает и превращается в ледяную воду.

Мне не хотелось вступать в разговоры, и я пошел к морю. У берегов лед встал и успел покрыться толстым слоем снега. Открытая вода угадывается самое малое в километре от берега. Искрящийся, без всякого намека на присутствие человека наст обещал желанное одиночество. Ни единого следа.

Морозный воздух обжигает щеки, но солнце все же прогревает – и я решился выйти на лед. Особого мужества не требовалось: у берега залив наверняка промерз до самого дна, как лужи на суше.

По левую руку – неровные желтые зубы в гигантской челюсти Корабельной набережной, опасно заостряющиеся, воткнутые в беззащитное январское небо шпили церквей, розоватая грозная туша королевского дворца на Дворцовом взвозе. Я отвернулся и посмотрел на берег. Лучше не привлекать внимания этого задремавшего хищного гиганта. Открылось ущелье, которое жители города наверняка не замечают: его видно только с моря, с проплывающих кораблей. Или можно, если на дворе лето, заплыть, причем довольно далеко. А зимой – еще проще. Сделать как я: выйти на лед. И сразу это длинное ущелье открывается – от Данвика к Хаммарбю.

Впрочем, ущелье – неверное слово. Правильнее назвать его оврагом.

Город словно отвернулся от Данвика. Не только город –

все живое отвернулось от Данвика. Даже само течение времени обошло Данвик стороной. Сутки здесь совсем иные: ночи длиннее, дни короче. Две скалы, одна с севера, другая с юга, укорачивают и без того короткий путь дневного светила.

Мало кто ложится в госпиталь по своей воле – только те, для кого родственники не видят другого выхода. Сыновья и дочери готовят места для своих стариков – им важно знать, что те находятся в безопасности и о них есть кому позаботиться. Но времени навещать родителей нет почти никогда. Старики понемногу впадают в детство и незаметно исчезают.

Чуть подальше, в Финнбуде, – скорбный дом. Больница для умалишенных. Отсюда я насчитал семь этажей, пристроенных сверху каскадом к уродливому грязно-желтому зданию. У каждого этажа отдельный фундамент, отчего все вместе напоминает лестницу для великанов. Эта больница – постоянный предмет разговоров в госпитальных коридорах. Поговаривают, душевнобольных вдвое больше, чем может вместить больница. Окна закрыты щитами из досок, кое-где виднеются чугунные решетки.

Я услышал тихое однотонное жужжание, несменяемый контрапункт. Вспомнил, как в детстве подошел к пчелиному улью и впервые понял связь между забавным мирным жужжанием и грозными ядовитыми жадами. Там – пчелы, да... учитель что-то говорил про коллективный разум некоторых насекомых. А здесь... гневное и бессильное жужжание издавали люди, лишённые не только коллективного, но и соб-

ственного разума. Несчастные, втиснутые в тесные каморки.

Иногда сумасшедший дом посещали из любопытства городские аристократы. Вручали охраннику несколько монет и в его сопровождении с опаской ходили по коридорам – пощекотать нервы, развлечься и ужаснуться. А санитары, те, кто еще был способен хоть на какие-то чувства, злорадно ухмылялись и переглядывались – важные господа иной раз чуть не падали в обморок от увиденного.

Зачем я туда пошел? Вряд ли смогу объяснить. Гнойно-желтое нелепое строение на скале. Здесь когда-то была солеварня. По причине ядовитых испарений ее построили в отдалении от человеческого жилья. Потом солеварню забросили, а теперь она нашла своих постояльцев. У входа надпись: *«Жалкое тщеславие и несчастная любовь погубили обитателей; путник, не узнаёшь ли сам себя?»*

Прочитал не особо тщательно высеченные на камне слова и пожал плечами – конечно, узнаю. Нечего и спрашивать.

За воротами приглушенное монотонное жужжание сразу, как по взмаху дирижерской палочки, распалось на смешанные в почти невыносимой какофонии человеческие голоса: стоны, переходящие в вой, дикий хохот, жалобы, выкрики, перемежающиеся тихим бессмысленным хихиканьем.

В проходной было почти темно, и я не сразу различил маленького человечка. Неуверенно кивнул, и он, точно только и дожидался моего кивка, быстрыми шажками засеменял ко мне.

– Добро пожаловать! – мягкий, даже ласковый голос и пронзительные, любопытные глаза. – Поздравляю! Королевская пунктуальность.

Я не понял, что он имеет в виду. Какая пунктуальность?

Человечек наверняка заметил мою растерянность, но, казалось, ничто не могло повлиять на его откровенно восторженное настроение. Он поклонился и жестом, широко улыбаясь, пригласил на лестницу.

– Если будете так любезны следовать за мной, покажу вам наши пенаты.

Несомненно, принял меня за кого-то другого. Я подавил желание указать ему на ошибку: любопытство пересилило. Само собой – я ведь и пришел сюда именно из любопытства.

Мы поднялись по лестнице и оказались во дворе, окруженном со всех сторон разноэтажными строениями. На заснеженной земле валялось немыслимое количество разнообразного мусора, выброшенного из частью разбитых, частью небрежно залатанных досками окон. Несколько пациентов в грязных рубахах, как один, раскачивались вперед-назад и не сводили с нас испуганных глаз.

– Не обращайтесь внимания, – махнул рукой мой Вергилий. – Домашние животные в человеческом образе. Никакого вреда. Как испугаются чего, так и убегут. Все вместе, заметьте, – стадный инстинкт, как у животных. Вы же обращали внимание: если ложится одна корова в стаде, тут же ложатся все. Бог с ними, у нас есть куда более интересные па-

циенты. Следуйте за мной.

Мы поднялись еще на несколько ступенек. Проводник остановился у двери, прокашлялся и произнес следующую речь.

– Изначально у нас было двадцать семь палат. Намерения самые благие: в каждой палате – один пациент. С минимальными, если позволите так выразиться, удобствами... Мне, уж простите, неизвестен ваш взгляд на мир, где нам выпало счастье жить. Чужая душа – потемки; любому ясно – потемки, потемки... а приглядишься: да что ж такое? Опять потемки. И есть ли она, душа? То ли есть, то ли нет – вопрос, знаете ли, весьма спорный... а что до меня, так ничего удивительного. Ничего удивительного! Поначалу казалось – о! как много! двадцать семь палат! А потребность оказалась куда большей, и уж тем более ничего удивительного... Город сводит людей с ума, вот что я вам скажу. Ежегодно, ежедневно и ежечасно город сводит людей с ума. Поток несчастных, потерявших рассудок, не иссякает. И, кажется, никогда не иссякнет. Сейчас в каждой палате по несколько пациентов, самое меньшее – по четыре. Буйных содержим в кандалах и стараемся отделить от остальных. С той же целью во многих палатах пришлось возвести перегородки... что ж, пройдемте внутрь.

Он отошел в сторону, не без труда снял засов и толкнул одну за другой тяжелые двойные двери. Первым моим побуждением было заткнуть уши, выскочить в коридор и за-

крыть за собой дверь. Свирепое рычание, жалобный вой, скрежет зубов и ногтей, царапающих штукатурку – все слилось в выматывающий душу оглушительный шум. Вот-вот лопнут барабанные перепонки.

– Скоро будем задавать корм. С головой у них так себе, но с желудками полный порядок. Желудки у них вместо часов.

Он пошел по коридору, то и дело останавливаясь и обращая мое внимание на интересные, по его мнению, детали.

– Как вы наверняка обратили внимание, двери у нас надежные. Хотя для спокойствия в палатах есть и внутренние двери. Те, пожалуй, еще прочней. Многие пациенты крайне агрессивны. Мы не решаемся выпускать их в коридор – видите окошки в дверях? Через них подают пациентам еду. И забирают горшки, разумеется. К сожалению, не все в состоянии пользоваться таким удобством, как ночной горшок, оттого и запах. Заметьте: печи топятся из коридора. Правда, только в самые холодные дни. Дрова приходится экономить, и – хоп! – вот вам и положительная сторона тесноты. В палатах всегда плюсовая температура. Пациенты греют их своими телами. Хотите глянуть? – Он приложил палец к губам и осторожно приоткрыл смотровое окошко в старой, с дубовой заплатой двери.

Моему маленькому чичероне пришлось встать на цыпочки, хотя люк был как раз на уровне глаз нормального человека. Увиденное заставило его улыбнуться, и он поманил меня пальцем. Глаза не сразу привыкли к полутьме в палате,

пришлось довольно долго вглядываться в мельтешащие тени. Полуголый парень, позвякивая в такт прикованными к стене кандалами, изображал непристойный танец. А остальные трое в противоположном углу самозабвенно дровичили, раскачиваясь в ритме танца.

Я с отвращением отвернулся.

Мы двинулись дальше.

– Здесь темные палаты. Темные в прямом смысле, без окон. Сейчас тут довольно мрачная компания – больные французской болезнью, те, кто не поддается лечению ртутью. Показать по понятным причинам не могу, но не так уж и важно: ничего нового. Проваленные носы, гнойные язвы... их бессильная ярость впечатляет, но знаете... нужно особое настроение, чтобы захотеть полюбоваться. А так-то они не очень разговорчивы, особенно если учесть, что болезнь поражает и язык. Кончик языка гниет и отваливается.

С каждой минутой мне становилось все труднее и труднее подавлять приступы дурноты. Нестерпимо хотелось поскорее покинуть это Богом забытое место. Искрящийся под солнцем берег, откуда я зачем-то сюда пришел, представился истинным раем.

Мой гид замолчал. Он не двигался с места и смотрел на меня испытующе.

– Но какое-то лечение эти бедняги все же получают?

Он торопливо закивал, будто дожидался именно этого вопроса.

– Как утверждает наука, люди теряют рассудок, когда внешние и внутренние обстоятельства выводят здравый смысл из баланса. Как правило, весьма драматичные обстоятельства, но и баланс, доложу я вам, очень и очень хрупкий. И вернуть его, я имею в виду рассудок, можно лишь подвергнув больного воздействию, не уступающему в силе этим, как я уже сказал... весьма и весьма драматичным обстоятельствам. Так показывают новейшие изыскания. К примеру, у нас есть кожаный шланг, и мы можем внезапно окатить умалишенного ледяной водой. Раньше пробовали заражать больных чесоткой – надеялись, постоянный зуд отвлечет от бредовых идей. А теперь и заражать не надо – сами стены исправно снабжают пациентов чесоткой и без участия докторов. Есть и другие методы... – Тут он заметил, что я близок к обмороку, и поспешно завершил фразу: – Но мы пока оставим их в покое.

Наконец-то он повернулся и показал на выход. Когда мы проходили мимо той самой двери с дубовой заплатой, сопровождающий внезапно положил мне руку на плечо.

– Смотрите-ка, забыл закрыть смотровой люк. Впрочем, беда невелика – все равно надо вам кое-что показать.

Он подвел меня к двери и пригласил заглянуть. Там, в полутьме, происходило то же малоприятное действие. Я пожал плечами и отвернулся.

– Нет-нет. – Он отрицательно помахал рукой. – Гляньте-ка повнимательней – видите там, в углу? В дальнем углу? Кто-

то из господ не дождался очереди на горшок... – Человечек заговорщически придвинулся и прошептал мне в ухо: – Местечко-то это... для вас бережем.

Я отшатнулся. Он издевательски ухмыльнулся, показав острые, с прогалами, зубы.

– Такой молодой, такой красивый... такой гибкий! А кожа – чистый алебастр! Сафьян! Эти бедняги умрут от счастья.

– Кто вы такой?

– Сегодня один, завтра другой... – Он по-прежнему ухмылялся. – Вчера, к примеру, был Калле-Дюжиной²... чуть не плакал, представьте, чуть не плакал... вспоминал, как вел своих мальчиков в синих мундирах через Мазурское поозерье. Зимой, представьте... ельничек молодой на островах, весь в снегу. От одного ельника к другому... вспомнить приятно, как мы затапывали грудничков каблуками на глазах у родителей... как же иначе, голубчик, как же иначе... понимаю, ничего хорошего, но как же? Вражья поросль... А как я вел моих ребятишек на полтавскую бойню... да что там! Пришли бы вчера, так услышали бы – свинцовая блямба все еще перекатывается у меня в черепе... тряхну головой, а она: тр-р-р-р, бряк, тр-р-р, бряк³... А сегодня? О, сегодня... сегодня у меня имен этих – поди сосчитай. Рогатый Пер, Палач, Пуке, Красный Петтер... Впрочем, называйте меня Сатаной. Мы вас ждем, дорогой вы мой. Уж вы-то, голубчик,

² Калле-Дюжина – прозвище Карла XII. – Здесь и далее примеч. переводчика.

³ Карл XII умер от пулевого ранения в голову.

лучше других знаете, где ваше место.

Я, возможно, нашелся бы что возразить на эту тираду, но меня остановил пронзительный голос, отдающийся гулким эхом в пустых коридорах.

– Тумас! Марш в койку! Тебе позволено гулять, а не вступать в разговоры с посторонними!

В конце коридора появился здоровенный санитар в грязной куртке. Он, ускоряя шаг, двинулся к нам.

Мой проводник опять придвинулся. На губах его по-прежнему играла злорадная улыбка. Я заглянул ему в глаза и отшатнулся. Огромные, черные, без единой искорки зрачки, будто намалеванные неумелым живописцем. Бездонные провалы безумия.

– А вот вам загадка на прощанье, – торопливо проговорил он. – Меня заперли в преисподней, я не имею права его покидать – но вот же я! Среди людей! Ключи к загадке везде, куда ни глянь. Запомните все, что видели, и берегитесь, берегитесь... мир полон ловушек.

Подоспевший санитар ухватил моего щуплого Вергилия-Тумаса за ворот. Попытка вырваться была тут же неумолимо укрощена парой затрещин. Бедняга заплакал, из носа потекла кровь. Он бросал на меня жалобные взгляды, будто я мог чем-то ему помочь.

– Вы уж извините... Мы не запираем его, и он иногда пускается в путешествия... иногда даже до вашего госпиталя доходит. Вообще-то он безвредный, но несет бог знает

что. Очень прошу никому не рассказывать... нас тут только двое... санитаров, я хочу сказать... только двое на такую ораву. За всеми не уследишь. Надеюсь, вы не приняли его болтовню всерьез.

Разъяснение получено, но легче не стало.

Я побрел назад. Умалишенные во дворе, по-прежнему раскачиваясь, жались к стенам, словно пытались уловить эманацию задержавшегося в камнях тепла.

Я вышел за ворота, обернулся и еще раз поглядел на этот приют заживо погребенных. Постарался унять внутреннюю дрожь. Странно – сама природа словно уловила мое настроение: стало темно, хотя на блеклом январском небе не было ни облачка. Я поднял голову и обомлел: будто какое-то чудо-вище откусило больше половины солнечного диска. Остался только бледный полумесяц, как от наполовину съеденного ломтя хлеба⁴. Я не удержался и вскрикнул. Колени подогнулись, и я упал на снег. Лежал довольно долго, не в силах пошевелиться; меня парализовал леденящий ужас. Прошло не меньше минуты, прежде чем я решил открыть глаза и обнаружил: свет вернулся. Господи... солнечное затмение! Домашний учитель много раз рассказывал мне эти азы астрономии: в определенные дни Луна проходит между Землей и Солнцем и закрывает его, как правило, частично. И уж совсем редко происходит такое совпадение геометриче-

⁴ Имеется в виду частичное солнечное затмение 31 января 1794 года.

ских условий, что у ночного светила хватает решимости заслонить дневное целиком и полностью. И продолжается это явление, как правило, очень недолго; несколько минут, не более того.

Я встал, отряхнулся и поспешил в госпиталь, стараясь ступать по моим собственным, оставленным полчаса назад, следам. Других следов не было: за эти полчаса здесь не появлялась ни одна живая душа. Пока не открыл дверь своей палаты, ни разу не остановился, ни разу не посмотрел по сторонам. Залез, не раздеваясь, в постель и с головой укрылся одеялом. Вся прогулка была ошибкой; не надо было выходить из палаты, хоть они и попытались бы выкурить меня можжевеловым дымом. Что ж... просили потерпеть, пока подберут достойное лечение, а до того мне следует избегать общества. Тумас, конечно, не в своем уме. Но он напомнил мне о моем собственном преступлении; я не могу смотреть в глаза людям. Сразу вспоминаю, что натворил, и это причиняет мне невыносимую боль. Не могу смотреть людям в глаза, и вряд ли когда-нибудь смогу. Светлые дневные часы – самые мучительные...

Тебаика – прекрасная тинктура. Опий обладает волшебным свойством сжимать время. День проходит в тумане, в полусне. Тебаика заглушает совесть и разум, если и заметишь какого-нибудь назойливого посетителя, тут же о нем забываешь. Эти драгоценные капли разводят в воде, добавля-

ют для вкуса сахар или мед... к сожалению, я вынужден делить спасительную настойку с другими обитателями госпиталя. Запасы быстро иссякают. Хотя мы-то еще в лучшем положении: я слышал, госпиталь пользуется также и рационом тебаики, предназначенным для умалишенных. Может, это и справедливо: опий усыпляет разум, а у обитателей скорбного дома нечего усыплять: их разум давно и навсегда усыпил Господь.

И все же иногда запасы тебаики истощаются, и я разыгрываю спектакль. Качаюсь взад-вперед, бормочу монотонные заклинания. А когда смеркается, когда, чуть не наступая на пятки сумеркам, неслышно подкрадывается ночь, – только тогда я достаю письменные принадлежности.

Мой благодетель просил меня вести записи. Постараться вспомнить и восстановить, как он сказал, последовательность несчастных обстоятельств, приведших меня к разорению. Именно так и сказал: *вспомнить и восстановить*. Это, по его мнению, может примирить меня с судьбой, по прихоти которой я оказался на суровом берегу Балтийского моря, в Данвикском госпитале, или, как его еще называют, Доме призрения. Я не властен над своими чувствами. Он говорит, все еще может поправиться, в моем преступлении виновен не только я, но и нелепое стечение событий, каприз природных сил... ну нет. На этот счет у меня никаких иллюзий.

В голове бушует шторм, а в душе – томительная пустота.

Я подношу руки к свече – на просвет они красны от крови. Я слышал, преступники обычно стараются отмыть от крови орудие убийства, но мои руки отмыть невозможно: они пропитаны кровью, сколько ни отмывай – не отмоешь.

Всю свою жизнь я мечтал о любви. Но если бы я понимал или хотя бы представлял, что это такое – любовь, никогда и никого бы не полюбил. Прекрасна и ужасающа, деспот в королевской мантии. Лихорадочно кипящая кровь... о господи, если бы я знал, в какую бездну завлечет меня любовь! В бездну, из которой нет возврата... Если бы сейчас мне сказали: загадай любое желание, и оно будет исполнено, но только одно, одно-единственное, – и думать нечего: ответ готов. Сделайте так, чтобы я никогда в жизни не познал любовь. И тогда бы я не оказался в этой богом забытой дыре, а она... нет, довольно.

Писал я довольно долго. Отложил перо и задул свечу. Закрыв глаза.

Хватит на сегодня. Я еще не готов писать про конец.

Пока хватит начала.

Детство мое вполне могло быть счастливым, у меня было все, что только можно пожелать, но судьба распорядилась иначе. Я родился под бархатным балдахинном в наследственном имении моего отца. Загородное поместье называлось Тре Русур, как, впрочем, и весь род, веками с честью носивший эту фамилию⁵. Отцы, сыновья и внуки в нашем роду не только никогда не пытались заняться политикой, но вовсе ею не интересовались, отчего считались в обществе людьми приятными и безвредными. Земля исправно приносила отменные урожаи: отец мой, в отличие от многих, заботился об арендаторах. Он был достаточно мудр, чтобы понимать: хорошее настроение и добрая воля вассалов приумножают его доходы куда успешнее, чем принуждение или страх.

Родился я на семь лет позже моего единственного брата Юнаса. Мать, истосковавшаяся по светской городской жизни, решила хоть как-то скрасить скуку и однообразие жизни сельской и захотела второго ребенка. Врачи предупреждали – затея рискованная. Возраст, несколько выкидышей – рожать опасно. Но мать настояла. Бесстрашная женщина настояла на своем!

⁵ В переводе – «Три Розы». Среди старинных шведских родов подобные фамилии встречаются нередко. Чтобы не ходить далеко за примерами: фамилия автора этой книги переводится как «Ночь и День».

Разница в возрасте возвела между мной и старшим братом стену, которую так и не удалось разрушить. Как-то он – думаю, специально, чтобы меня помучить, – пересказал подслушанный разговор матери со старым домашним медиком. Тот всеми силами ее отговаривал – нельзя рожать в вашем возрасте, способность к деторождению угасает, как и все другие способности. Предлагал различные методы прерывания беременности, но мать только рассмеялась и прогнала опытного врача. И когда с опозданием на три недели я все же появился на свет, она умерла. Всего раз в жизни довелось мне почувствовать тепло материнских объятий, и меня до сих пор бросает в дрожь, когда я пытаюсь представить сплетенные вокруг младенца медленно холодеющие руки.

Обстоятельства моего рождения наложили тяжелый и никогда не преодоленный отпечаток на отношения с отцом. Ему вполне хватало одного наследника, к тому же он себя убедил, что слишком стар для нового отцовства. Подозреваю, что каждый раз, когда я попадался ему на глаза, он вспоминал: это ведь я, никто иной, именно я лишил его любимой супруги, с которой он рассчитывал счастливо провести остаток дней. А может быть, я казался ему начисто лишенным важных достоинств. В седле держался еле-еле, на охоте стрелял из рук вон плохо, умудрялся промазать даже с близкого расстояния. А попытка скрестить клинки с учителем на уроках фехтования всегда кончалась одним и тем же: шпага

вылетала у меня из рук. Вдобавок рос я очень болезненным мальчиком, кашель сменялся лихорадкой. Какие там атлетические достижения! Даже если бы я очень захотел, они были мне недоступны.

Воспитание мое целиком передоверили домашнему учителю, но когда заканчивался заполненный скучными, а иногда и мучительными обязанностями день, я был предоставлен самому себе. Дом засыпал, а я вставал и выходил на лестничную площадку: в сотый, а может, и в тысячный раз посмотреть, что потерял. Там висел портрет матери. Мне много раз говорили: ты на нее похож. Я приносил табуретку, осторожно снимал тяжелое зеркало, ставил его под портретом и сравнивал, пытался уловить ее черты в моих. Ставил канделябр так и эдак... удивительная штука – свет! Чуть опустил свечу – и сразу заметно несомненное сходство надбровных дуг. Отвел в сторону – оказывается, линия скул точно такая, как у матери.

Брат записался в армию, когда мне едва стукнуло одиннадцать. Отец очень тяжело воспринял разлуку с любимцем. Они и в самом деле были очень близки. Все время, оставшееся до отъезда, занимались охотой, конными прогулками и стрельбой в цель – занятия, в которых я не мог принимать участия по причине возраста и врожденной неловкости.

Брат уехал, и отец перестал улыбаться. Не могу припомнить, чтобы он хоть раз улыбнулся – разве что когда брат приезжал на побывку. Совершенно замкнулся. Я старался не

встречаться с отцом. Я попросту боялся его, и страх этот со временем не проходил. Скорее нарастал. Он начал искать утешение в винном погребе. Изредка, правда, вспоминал про отцовский долг – в тех случаях, когда считал необходимым выпороть меня за провинность. За нарушение какого-нибудь из многочисленных правил, принятых в Тре Русур. После порки он на несколько дней становился мягче, но для меня это было слабым утешением; я плакал горькими слезами. Не столько от боли, сколько от унижения. И отдалялся от него все больше и больше.

На Пасху в тот год отец пригласил друзей, знакомых и самых крупных арендаторов – впервые после смерти жены. Решил, как я теперь понимаю, сделать последнюю попытку скрасить одиночество и надвигающуюся старость. Давно, а может быть, никогда не видел я его таким веселым. Но продолжалось оживление недолго. Из полка, где служил Юнас, пришло письмо: именно в пасхальные дни отпустить его на побывку никак невозможно.

И все. Отцовскую радость и энтузиазм как рукой сняло. Искра погасла, не успев разгореться. Охотнее всего он отменил бы пир, но приглашения уже разосланы, деваться некуда. Праздник состоялся. Отец быстро напился, настроение его с каждым стаканом становилось все мрачнее, и, конечно, оно передалось гостям.

К вечеру накрыли ужин. Место рядом с отцом пустовало –

в память об умершей жене. Такова традиция. Время от времени я косился на отца – он продолжал пить. Лицо его багровело с каждой выпитым бокалом, язык уже порядком заплетался. Покачнувшись, встал, обвел гостей мутным взглядом, предложил выпить в память о его покойной жене и заплакал. Слезы ручьем потекли на бороду. В наступившей тишине я потянулся за бокалом – и опрокинул соседний. Ножка отломилась. Я оцепенел от ужаса. Бокал был не какой-нибудь – из сервиза, полученного матерью в приданое. Тонкого, но тяжелого хрусталя, изящный, украшенный монограммой бокал. Неуклюжесть моя имела и естественное объяснение – я был в том возрасте, когда дети растут очень быстро, и мозг еще не привык управляться с внезапно выросшими ногами и руками. Но искреннее горе отца наконец-то нашло выход – оно перешло в раздражение и ярость. Он поднял меня за ворот, влепил несколько сильных пощечин и продолжал бы, если бы подоспевшие гости меня у него не вырвали. Я, всхлипывая, пробежал через зал и выскочил на улицу. Накануне прошел последний в том году снегопад. Слуги сгребли снег с аллеи к дому, оставив между высокими сугробами и стеной лишь узкую полоску брусчатой отмостки. Там я и спрятался. Меня не нашли.

Я долго сидел и рыдал, уткнув голову в ладони, пока что-то не подсказало мне: я не один. Поднял голову и увидел бледненькую девочку с рыжими волосами. Даже и рыжими не назовешь. Представьте себе отражение пламени в начи-

ценном медном кофейнике – вот такого цвета были у нее волосы. Она стояла совершенно неподвижно. В простеньком хлопковом платье, будто и не замечала холода. Я не сразу заметил, что в руке у нее хрустальный бокал, точь-в-точь такой же, как тот, что я нечаянно разбил несколько минут назад. Она, глядя мне в глаза, медленно разжала пальцы. Бокал упал на камни и бесследно исчез: осколки тут же затерялись среди ледышек и обломков упавших сосулек.

Этот пасхальный прием был последней попыткой моего отца преодолеть все усиливающуюся с каждым днем меланхолию.

3

Я искал ее так, будто знал, где искать. Вслепую, как ищут воду с лозой, как ищут залежи руды рудознатцы. Помогал инстинкт и твердая уверенность: найду.

И нашел.

Незаметно подкрававшаяся весна растопила снег в лесу. Ручейки талой воды прихотливо огибали корни, дымный веер солнечных лучей с трудом пробивался сквозь кроны сосен, и в этом таинственно мерцающем мареве... вот же она! Белое платье, мелькнувшее среди чешуйчатых стволов, бледное лицо, огненные волосы, тонкие, гибкие руки.

Я застыл – не знал, что делать. Да, я искал ее, терпеливо и настойчиво, но теперь, когда увидел, растерялся. Она показалась мне существом из иного мира – феей или лесовичкой. Стоял и смотрел. И она почувствовала этот взгляд – почти мгновенно. Остановилась посередине поваленного дерева, на котором балансировала, раскинув руки и слегка покачиваясь. Не убежала, а сделала почти неуловимый пируэт, обернулась и посмотрела на меня через плечо. Во взгляде ярко-зеленых глаз я прочитал одновременно вопрос и вызов. Это придало мне смелости подойти поближе.

Ее звали Линнея Шарлотта. Дочь Эскиля Коллинга, одного из многих арендаторов, кто обрабатывал землю, принадлежащую нашему роду с незапамятных времен и уна-

следованную моим отцом. Коллинг был человек работающий, предприимчивый и понимающий землю. Он появился в Тре Русур несколько лет назад и успел за короткий срок создать крепкое, зажиточное хозяйство. Он прекрасно понимал: чтобы подняться по социальной лестнице, упорного труда недостаточно. Старался держаться, как человек господского класса. Впрочем, довольно деликатно, чтобы не вызывать насмешек других арендаторов. Покупал жене и дочерям дорогие платья, украшения, подчеркивающие их красоту. Да и сам носил сапоги с серебряными пряжками и никогда не забывал, словно бы ненароком, выпустить на жилет позолоченную часовую цепочку.

Надо сказать, усилия его увенчались успехом. Отец выделял его из других арендаторов. Если кто-то из заранее намеченных гостей отказывался от приглашения, он всегда приглашал на наши застолья именно Коллинга. В тот пасхальный вечер, когда я впервые увидел Линнею Шарлотту, позвали и семью ее отца.

В лесу мы играли в коршуна и голубку. Мы же были совсем еще детьми, и дружба между нами была вполне естественной, хотя и довольно хрупкой. Линнея совершенно не умела управлять своими чувствами. Вдруг ни с того ни с сего могла вспылить, глаза метали гневные зеленые искры, и я в таких случаях предпочитал ретироваться. Но на следующий день она, к моему удивлению, все равно приходила и ждала меня. Она никогда не произносила вслух слова «прости»

или «извини», но я постепенно научился понимать ее язык. Смущенная улыбка, стыдливый взгляд, вроде бы нечаянное прикосновение. Или звонкий смех в ответ на шутку, вовсе не заслуживающую такого бурного одобрения. И мы снова становились лучшими друзьями.

Линнея показывала мне местечки в лесу, о существовании которых я даже не подозревал: лес, как и я, не имел от нее тайн. Лосиный водопой, тайное гнездо зеленого дятла, совиное дупло. Роскошный дворец из ветвей, возведенный орлами на самой вершине корабельной сосны. Удивительно, я не замечал его раньше.

Что я мог дать ей взамен? Все, что у меня было, принадлежало Линнее. Иногда, после очередного приступа ее гнева, я пригибал ветки подлеска к земле, переплетал их, строил нечто вроде шалаша для защиты от ветра и глотал слезы, когда при малейшей неловкости согнутые в дугу ветви высвобождались и хлестали меня по рукам.

Насколько лучше было бы, если бы время невинных детских игр продолжалось вечно! Но шли годы, и мы менялись. Природа, эта неутомимая и капризная чучельница, разочаровалась в худеньком тельце Линнеи и решила сменить набивку. В Тре Русур ничего не случилось. Хотя мы по-прежнему очень много времени проводили вместе, встречи казались мне очень короткими. Чересчур короткими. Времена года шли своим чередом, летние месяцы сливались в одно

непрерывное лето, а суровые зимы с метелями и многометровыми сугробами были неотличимы, как близнецы. Внезапно до нас дошло: мы уже не дети. Обоим исполнилось четырнадцать. Зрелость подкралась незаметно, исподтишка, хотя ни я, ни она этого не хотели.

Как-то нас застал сильный ливень. За несколько мгновений платье Неи облепило тело и сделалось почти прозрачным. Она обхватила себя руками, стараясь скрыть всего лишь угадывающуюся, но оттого еще более волнующую наготу, а я стыдливо опустил глаза и уставился в мокрую глину.

После этого случая она стала одеваться по-иному. Теперь, если во время игр нам случалось прикоснуться друг к другу, нас словно отбрасывало в разные стороны и наступало мучительное молчание, которое ни она, ни я не знали, как прервать. Иногда она не появлялась по нескольку дней, а потом придумывала какие-то извинения и объяснения. Я тоже вырос и стал намного сильнее Линнеи, и старался это не показывать. Никто из нас по доброй воле не стремился сорвать яблоко познания, но наш райский сад изменился. Он стал другим, коварным и соблазнительным, но оттого еще более прекрасным.

Ее перепады настроения стали еще более бурными и неожиданными. Непродуманное слово или движение, малейшая искра – и она либо убегает, либо прогоняет меня из своего леса. Молча, почти королевским жестом – вон! Как-то я сделал попытку воспротивиться. Остался на месте. Обыч-

но не решался, но в тот раз только что переболел инфлюэнцей и еще не преодолел свойственное больным упрямство. Она бросилась на меня, я удержал ее рукой. Она начала царапаться. Но я только слегка напряг уже заметные мускулы и засмеялся – у нее была привычка обгрызать ногти чуть не до самого ложа, и ни малейшего вреда она причинить не могла. Мой смех окончательно поверг ее в ярость, и она впиалась зубами в руку, которой я ее удерживал. Не в шутку, а всерьез.

Я вскрикнул – больше от неожиданности, чем от боли. Нея отпустила руку и посмотрела мне в лицо. Полные слез глаза были полны такого безнадежного отчаяния, что я вздрогнул и хотел было утешить, но она судорожно всхлипнула и убежала. В который раз уже мелькнуло меж стволами светлое платье – через несколько секунд ее и след простыл. А я так и стоял в оцепенении. На густой серо-зеленый мох беззвучно падали алые капли крови.

На предплечье руки, которой я пишу эти строчки, если закатать рукав, до сих пор видны следы ее зубов.

Через день я нашел Линнею. Руку забинтовали, мне пришлось носить ее на перевязи – каждое движение причиняло заметную боль. Я знал место, где она имела обыкновение прятаться, – маленькая полянка в глухом лесу. Она мне показала эту полянку еще в детстве.

Еще на расстоянии я слышал всхлипывания. Подошел поближе – она сидела, обхватив руками колени, и мелко дрожала, как дрожат осиновые листья на ветру. Я старался идти

тихо, но нечаянно наступил на сучок, и она обернулась. Я не решился подойти близко.

– Что случилось, Нея? – На всякий случай я присел на корточки. Более мирную позу и выдумать трудно.

Она ответила не сразу.

– Ты бы слышал, что они о тебе говорят, Эрик, – тихо произнесла Линнея, уткнув лицо в колени.

– Кто – они? – не понял я.

– Отец... Он гордится, что ему доверено обрабатывать вашу землю. Говорит о твоём отце, старом Тре Русур, как о Боге, дескать, если бы не он, травинка бы не выросла. Как же... Сестры целыми днями щебечут о твоём брате и его друзьях-кадетах. Говорят, как о призах в какой-то игре, которые можно выиграть, только если знаешь правила. Целыми днями чистят перышки. Учатся красиво сесть в господском платье, красиво встать, красиво повернуться. Учатся вышивать цветочки и ягодки, учатся вести хозяйство и не фальшивить, когда поешь. Учатся сопровождать скромные и достойные речи страстными взглядами... и все для того, чтобы привлечь жениха побогаче. Почище, чем тот, кто их зачал.

Линнея подняла голову. Даже припухшие от слез глаза и красные пятна на щеках не могли скрыть ее красоту.

– А мне велено молчать и слушать. Отец только и мечтает отлучить меня от леса и усадить за ткацкий станок. Или ткнуть носом в Катехизис. А сестры... они нас с тобой видели и теперь проходу не дают. Они думают, все такие, как они.

Даже не замечают, как все несправедливо устроено. Один рожден Коллингом, другой – Тре Русур. У одного ничего, у другого все. Отец из кожи вон лезет, чтобы подбирать крохи с вашего стола. И самое главное: его это нисколько не тревожит. Мало того: он попросту этого не замечает! Льстит твоему отцу и радуется, как ребенок, если его комплименты попадают в цель. А сестры только и мечтают, что когда-нибудь смогут смотреть на других свысока, как другие смотрят на них сейчас.

Я никогда раньше не слышал от нее подобных речей.

– Но Нея...

Она подняла руку – замолчи.

– Не знаю, что они от меня хотят, но точно знаю, что хочу я. Хочу, чтобы от меня отвязались. Оставили в покое. Я не хочу никаких мужей.

Наверняка на лице моем легко читались удивление и растерянность.

– И еще я хочу тебя, Эрик Тре Русур, – почти неслышно прошептала она. – Если я когда-то и мечтала о ком-то, теперь мечтаю только о тебе. И снишься мне только ты.

Меня охватила горячая волна почти невыносимого счастья.

– И я тебя очень хочу. Никого другого. Я знаю, что тебе снится. Мне самому снился такой сон много раз. Будто ты и я под венцом. Муж и жена.

Линнея грустно покачала головой.

– Не представляю... не представляю себя в роли благородной дамы. Сажу у себя в поместье и перемываю косточки другим таким же. А встретимся – лучшие подруги. Благородные дамы! Их дружелюбие и хорошие манеры – маскарадный костюм для зависти.

Я засмеялся. Линнея говорила не как четырнадцатилетняя девчонка, а как умудренная опытом и разочарованная женщина.

– Тре Русур унаследует старший брат. Мне-то вряд ли что достанется. Так что насчет богатства можешь не волноваться. Нам оно не грозит. Свобода – сколько угодно. Свобода ценой бедности... – сказал я и запнулся.

Меня словно загипнотизировало ее неожиданное красноречие, и я ни с того ни с сего заговорил тоном уверенного, знающего себе цену мужчины. На самом-то деле мальчишеская робость никуда не делась. Как сказала Линнея? *Маскарадный костюм*. Детская робость примерила маскарадный костюм мужчины, и он оказался ей не по росту.

– Да... ценой бедности, – повторил я на всякий случай. – Но если... если ты все же хочешь... ну, в общем...

Она продолжала плакать, но мне показалось, что теперь это были скорее слезы радости и понимания.

– Да. Очень хочу. Тысячу раз – да!

Она вскочила и обняла меня с силой, какую никак нельзя было ожидать в уже почти оформившемся, но все же хрупком теле. Мы стояли так довольно долго, а потом она взяла

меня за руку и проводила почти до нашей усадьбы.

Остановилась, встала на цыпочки и поцеловала в губы. Я никогда в жизни не целовался. Ну и что? Искусство это не менее древнее, чем само человечество, так что вряд ли требует особого обучения. Я зажмурился. В фиолетовой тьме, под закрытыми веками, появилось ярко-желтое пятнышко с фиолетовым кантом. Оно мгновенно выросло и взорвалось радужным фейерверком. Сквозь губы, сквозь эти крошечные пухлые комочки плоти лился волшебным потоком весь запас любви – любви, в которой мне до этого мига было отказано. Впервые в жизни я почувствовал себя настоящим, полноценным человеком. Колени подогнулись, я дрожал всем телом, и слезы, мои и ее, эта растворенная в воде соль, пра-матерь всей земной жизни, – наши слезы слились воедино.

4

Мой старший брат Юнас, служивший в гвардии, взял увольнительную, чтобы помочь с организацией уборки урожая. Раньше я про это не думал, а благодаря ему понял: наша с Линнеей любовь ни для кого в Тре Русур не секрет. Уже на следующий день он позвал меня в конюшню – дескать, пошли, покажу нового коня, закрыл ворота и с кривой улыбкой треснул по плечу.

– Слышал от конюхов, вроде бы ты хороводишься с дочкой нашего арендатора?

Я уставился в пол и не сказал ни слова.

– Красивая, говорят, девка, – продолжил он, посмеиваясь, – но не забывай – деревенщина! Тебе бы, Эрик, повыше целиться... Не скажу про все остальное, но мордашка у тебя – дай Бог каждому.

Мои щеки залила краска, и это, похоже, развлекло его еще больше.

– Злые языки поговаривают... скажи-ка, она и вправду маленько не в себе? Считает себя особенной... дурочка, короче. Думаю, так и есть. Иначе не объяснишь – как ей удастся выдержать твое общество?

Юнас ткнул меня кулаком в бок – не обижайся, мол, шучу. Давай, рассказывай, как вы с ней милуетесь.

Я по-прежнему молчал. Он покачал головой и поднял па-

лец – смотри, парень, доиграешься. И оказался прав. Я не видел Линнею Шарлотту несколько дней – шел праздник урожая. Как только закончилось веселье, меня вызвал отец.

Кто-то ему доложил.

Уже несколько недель я почти не видел отца, и только теперь заметил, насколько он сдал. Меланхолия все углублялась и углублялась, за несколько месяцев он постарел на несколько лет. Лицо покрылось морщинами, когда-то роскошная шевелюра сильно поредела. Похудел не меньше, чем на полпуда, щеки, когда-то пухлые и гладкие, ввалились так, что я даже испугался. Гардины в его роскошном кабинете были задернуты, яркое послеполуденное солнце сюда почти не проникало, а узкие полоски света между шторами только подчеркивали мрачную торжественность обстановки.

Он велел мне присесть на один из двух стульев, поставленных друг напротив друга, – думаю, специально для этого разговора.

– Учитель говорит – ты почти забросил занятия, – обреченно вздохнул отец.

Я виновато склонил голову и молчал – все-таки лучше, чем врать.

Он выждал еще немного и перешел к делу.

– Предполагаю, ты с ней спишь, – не столько спросил, сколько заявил отец.

Я почувствовал, как краснею, и отрицательно замотал го-

ловой. В ушах чуть ли не взрывами отдавались удары сердца.

Очевидно, ответ был для него неожиданным, и следующий вопрос последовал не сразу.

Отец встал, подошел к окну и слегка раздвинул шторы.

– А почему? – спросил он, не оборачиваясь. – Эрик... ты младший сын в семье. Это не самый лучший жребий. Ты прекрасно понимаешь: имение унаследуешь не ты, а старший сын, Юнас. А тебе, чтобы продолжить наш род, придется потрудиться и найти хорошую партию. Если тебе так уж нужна женщина, есть сотни отцов, и они готовы очень щедро заплатить, чтобы их дочери рожали дворян.

У меня закипали слезы обиды, и это не ускользнуло от внимания отца. Он недовольно поморщился, покинул место у окна и опять сел на стул.

– Пойми меня правильно. Я же не говорю, что ты должен немедленно порвать с этой девицей Коллинг. Ничего подобного. Забавляйся с ней, сколько хочешь. Забеременеет – ничего страшного; прокормим и бастарда, найдем и ей хорошего мужа. Не обеднеем. Но жениться на ней никто тебе не позволит, Эрик. Никто из Тре Русур не женился на простолюдинках. Никто и никогда.

Я изо всех сил потер щеки, и у меня еще больше загорелось лицо. Заговорил и чуть не застонал от стыда – так жалко звучал мой голос среди тяжелых штор, книжных полок и набивных штофных обоев.

– Ее отец – состоятельный фермер, – чуть ли не пробормо-

мотал я. – Для меня достаточно.

Тут и отцу пришел черед покраснеть, только не от смущения, а от гнева.

– Значит, нестроганный щелястый пол тебе милее нашего паркета? Значит, пока ты ее тискаешь, шелковые простыни не нужны? Сойдет и вшивый соломенный матрас? Ты думаешь, нам даром досталось все, что ты видишь вокруг? Ничем не пришлось пожертвовать? И ты плюешь на все, что твои предки добывали жертвами, мечом и трудом? И только потому, что тебя дернул черт влюбиться в деревенскую девицу?

Я почти никогда не возражал отцу, а если и возражал, то потом горько раскаивался. Но захлестнувшая меня любовь придала мужества.

– Я люблю ее больше жизни. – Мне казалось, я вполне владею собой, но голос все же сорвался на фальцет. – Мы уже помолвлены, пусть не перед алтарем, но Бог нас услышит! Услышит, укрепит и поддержит!

Отец меня оборвал. И заговорил – странно, с хриплым бульканьем, как забытый на огне чайник.

– Твоя мать отдала жизнь, чтобы ты появился на свет! Ты и тогда был ленив и ни к чему не пригоден, ты покинул ее лоно слишком поздно и разорвал его в клочья! Господи, сколько счастливых лет мы могли бы прожить вместе, если бы не ты! Ты отнял ее у меня. И что ты делаешь, чтобы искупить этот страшный грех? Хочешь погубить и свою жизнь! Жизнь, купленную такой страшной ценой! Ты...

Он прервался и молчал довольно долго – пытался успокоиться.

– В декабре тебе будет пятнадцать. И запомни – после этого должно пройти еще три года, прежде чем ты будешь вправе самостоятельно принимать подобные решения.

– Буду ждать столько, сколько понадобится, а если...

Отец поднял руку с растопыренной ладонью – помолчи.

– Я посылаю тебя на юг. Сен-Бартелеми⁶. У моего знакомого там торговые дела, он и для тебя найдет местечко, если я попрошу. Исполнится восемнадцать – у меня никаких прав помешать тебе вернуться и делать, что хочешь. Остается только право надеяться – а вдруг возьмешься за ум. И думаю, это не пустая надежда: посмотришь мир и наверняка забудешь все эти глупости.

Я вскочил так резко, что стул чуть не упал.

– Никогда! Никогда ее не оставлю! – Я на подгибающихся ногах двинулся к двери, но меня остановил отцовский окрик.

– Запомни: откажешься ехать в колонию, буду вынужден лишить ее отца права на аренду. Выбирай сам!

Я выскочил из кабинета как ошпаренный и буквально ворвался в свою спальню. Отец расставил мне ловушку, из которой нет выхода. Растерянность и отчаяние сменились бешеной яростью. Я даже не подозревал, что на такое способен.

⁶ Один из Антильских островов, шведская колония с 1784 по 1847 год. Колония сильно разбогатела на скупке награбленных пиратами товаров и работоторговле.

Я словно ослеп, будто на голову накинули мешок. Ничего не видел, кроме кровавого тумана. А когда очнулся – обнаружил, что стою посреди разгромленной комнаты. Опрокинутый шкаф, сломанные стулья. Я долго не мог понять, что произошло. Будто стал свидетелем театрального представления. Прошел первый акт, все замечательно. Занавес опустили, а когда подняли – полный хаос. Забыли сыграть сцену, объясняющую, откуда он взялся, этот хаос. Посмотрел на руки – кулаки окровавлены, суставы опухли... если бы не это свидетельство, я бы наверняка решил – потерял сознание. Потерял сознание, а в это время неизвестный злоумышленник разгромил мою спальню.

Именно тогда я догадался, что поцелуй с Линнеей открыл в моей душе некий шлюз, шлюз, за которым дремала неведомая и опасная сила, готовая прорвать плотину, как только возникнет призрак разлуки с любимой. Я не мог позволить себе отказаться от Линнеи. Войска, о которых я даже не подозревал, стояли в полной боевой готовности, чтобы защитить мою любовь.

Такой припадок слепой ярости случился со мной тогда в первый раз в жизни. Но, к моей вечной скорби, не в последний.

Я, разумеется, тут же бросился ее искать. Но ни в одном из условленных мест, где мы обычно встречались, ее не было. Ни на поляне, ни у поваленного бревна, ни у родника.

Оседлал коня и помчался к Эскилю Коллингу. Оказывается, Линнею Шарлотту отослали к родственникам. В глазах ее отца метался ужас. Подумать только... во мне, четырнадцатилетнем подростке, он видел чудовище, готовое обратиться его жизнь в руины.

Я взял коня под уздцы и побрел домой. По щекам моим текли слезы отчаяния. На опушке на камне сидела мать Линнеи. Она молча указала мне на место рядом.

– Как я вас увидела, тебя и Линнею, сразу подумала: добром не кончится. А что я могла сделать? Она девчонка упрямая, на своем стоит, как... как этот камень. Только ждать: авось переболеет... – Фру Коллинг впервые посмотрела мне в глаза. – Я-то чего боялась? Думала, барчук поиграть захотел, потанцевал и забыл. Игрушка на лето.

– Я до нее даже не дотронулся. Я хочу жениться на Линнее и прошу вашего благословения.

Она ответила не сразу. Глубоко вздохнула и покачала головой.

– А Линнея-то как плакала! Я думала, у меня сердце разорвется. Вцепилась в косяк – не оторвать. Знаю, знаю – твой

отец тоже отсылает тебя куда подальше. Муж мой ему обещал – пока не уедешь, Линнея Шарлотта тебе на глаза не покажется. А я... покажется, не покажется... я другое пообещаю, если, конечно, тебе в утешение. Она тебя будет ждать. Ни за кого не пойдет, пока тебе восемнадцать не исполнится. Никого не хочет, кроме тебя, а заставить ее – ха! Поди заставь... Маршал в юбке. И обещаю: как вернешься – будет вам мое благословение. Если, конечно, не передумаете.

Мы обнялись. Я уже взялся за поводья, как меня осенила простая мысль.

– А если я ей напишу и отправлю письмо вам? Передадите?

Она засомневалась: видно, прикидывала, насколько опасна такая затея, потом молча кивнула.

Я вернулся домой и, ни минуты не медля, сел писать письмо. Первое из многих.

Отплытие назначили на конец октября. Времени на подготовку оставалось много, и я решил узнать побольше про этот загадочный остров – Бартелеми. Мой отец никогда книгами не увлекался. Если и добавил что-то в библиотеку, собранную предками, вклад его можно пересчитать по пальцам. Вся надежда на домашнего учителя, и я пошел к Лундстрёму. Тот сидел у себя в комнате и читал, то и дело поднося к книге почти догоревший огарок. Как и всегда в последнее время, он посмотрел на меня с упреком – с тех пор как я

начал встречаться с Линнеей, усердие мое оставляло желать лучшего. Я постарался принять как можно более виноватый вид и рассказал, что меня мучит. Учитель тут же оттаял. Он, конечно, уже знал: слухи о моем отъезде распространились по уезду, как лесной пожар. Добрый Лундстрём всеми силами постарался меня утешить, а когда я рассказал про разговор с матерью Линнеи, неожиданно воодушевился.

– Что может быть лучше? – воскликнул он. – Что может быть лучше, Эрик, подумай сам! Она будет тебя ждать! А тебе предстоит такое приключение! Нельзя превратиться из неопытного юнца в зрелого мужа, не познав жизни... – Немного подумал и наставительно добавил: – Не познав жизнь во всем ее многообразии. Признаюсь – я тебе завидую. Как бы я хотел оказаться на твоём месте! И Эуфразен, и Карландер уже побывали на Бартелеми, а Фальберг⁷ все еще там, посылает ботанические находки чуть не каждую неделю! Множество неизвестных видов... и знаешь что? Я думаю, все они, даже вместе взятые, пока не описали и сотой доли тамошних богатств!

Я засыпал его вопросами. Мальчишеский энтузиазм Лундстрёма тут же сменился строгой учительской миной. Подозреваю, он таким образом постарался замаскировать лихорадочные попытки извлечь что-то из глубин памяти.

Оказалось, колонии в этом году исполняется ровно десять лет. Покойный король Густав мудро выменял остров у фран-

⁷ Шведские натуралисты и врачи конца XVIII века.

кузов в обмен на таможенные послабления в Гётеборгской гавани – неслыханно выгодная сделка! Выгоднее и представить невозможно! Остров Бартелеми, один из множества подобных по другую сторону Атлантического океана, – настоящий тропический рай, достойный пера Даниеля Дефо. Пряности растут у каждого ручья, огромные богатства, не говоря уж о хлопке, сахарном тростнике и патоке. Главный город – Густавия, в честь покойного короля.

– А кто там живет?

Лундстрём в задумчивости постучал по переднему зубу ногтем среднего пальца.

– Шведы, думаю. Но скорее всего и французский тебе пригодится. Не зря же мы его учили!

На этом его познания о единственной шведской колонии были исчерпаны.

Я искренне попросил у него прощения – из-за моего отъезда Лундстрём лишился работы, – но он только махнул рукой.

– Но пообещай: привезешь какие-нибудь редкостные экспонаты.

Я от всей души дал ему слово.

Недели тянулись невыносимо. За несколько дней до отъезда явился мой кузен Юхан Аксель с большим дорожным сундуком – он ехал вместе со мной и пребывал в радостном нетерпении от предстоящего приключения. Удивлять-

ся нечему: Юхан Аксель, как и я, родился слишком поздно, чтобы рассчитывать на наследство, все должно было достаться старшим братьям. Наличие старших братьев не оставляло ему ни единого шанса, поэтому он собирался поступить в университет в Лунде или Упсале. И его, разумеется, очень привлекала возможность еще до начала трудных академических лет посмотреть мир. К тому же с тех пор, как я начал посвящать почти все время Линнее, мы виделись довольно редко, и он был рад возможности возобновить дружбу.

Паковать мне было особенно нечего. Мало что из моих вещей годилось для тропиков. Рубахи и брюки домашняя портниха переделала для жаркого климата. Собственно, переделка заключалась в том, что она отпоролла необходимую в северных широтах подкладку. Сапожник обмерил наши, Юхана Акселя и мои, ноги и через несколько дней принес кожаные легкие ботинки, сшитые чуть на вырост, поскольку он, по его собственному изящному выражению, не уверен, что ноги наши достигли окончательного размера.

– На год, думаю, хватит, – сказал не особенно твердо и ушел.

Прощание с отцом было, как легко догадаться, весьма немногословным. Нас разделял письменный стол. Он даже не сделал попытки встать и пойти мне навстречу. Расстояние между нами было не меньше пяти шагов. Отец молча мотнул головой в сторону стоявшего на столе резного ларца. Я отвел тугой крючок, открыл крышку и вздрогнул: там лежал

пистолет с вороненым дулом и с гравированными латунными накладками на рукоятке. Несколько пуль, рожок для пороха, слиток свинца и форма для отливки пуль.

Пистолет был украшен гербом нашего рода и моей монограммой – «ЭТР».

Поездка в Стокгольм, откуда отправлялся наш корабль, заняла несколько дней. Тридцать первого декабря мы разгрузили сундуки в приемной конторы директора Шинкеля. После оформления документов грузчики отнесли багаж на причал на Корабельной набережной.

Корабль наш был зачalen несколькими толстенными тросами, но даже такие внушительные чалки не могли удержать его в неподвижности. Сходни, или трап, как его называют моряки, ерзали по неровному камню пирса. На самом деле трап – всего лишь несколько досок, сколоченных между собой поперечинами, исполняющими к тому же роль ступенек. Ничего хитрого, но мне показалось, что смысл трапа не просто обеспечить пассажирам сравнительно безопасный проход на судно. Он к тому же проводит границу между двумя мирами – миром неподвижности и миром движения.

Не успел я ступить на палубу, меня охватили дурные предчувствия. Здесь все двигалось, стонало и скрипело. Мачты раскачивались, сильно пахло морем и смолой.

Выкрикнул какую-то команду боцман, матросы отдали чалки и, как белки, полезли на мачты ставить паруса. Через четверть часа мы уже были в море. Корабль, несмотря на слабый ветер, шел на удивление ходко. Ломаный силуэт домов на Корабельной набережной становился все меньше, а

когда миновали Юргорден, и вовсе скрылся. Постепенно ветер скис совершенно, и в первый день мы прошли не больше двух-трех морских миль. И на следующий день ветра тоже почти не было. Почти неделю дрейфовали мы по стокгольмскому архипелагу. Потом загаженные морскими птицами крошечные скалистые островки выныривали из серой осенней воды все реже и реже, и в конце концов мы оказались в открытом море.

Кругом вода.

Пройдет не меньше двух месяцев, прежде чем я пойму, насколько капризно море. Пойму, какой смертельный ужас охватывает людей, когда неизвестно откуда взявшийся штормовой ветер с воем гонит многометровые пенистые валы, когда соленая вода с грозным шипением заливаает палубу, когда малейший поворот штурвала может перейти вовсе уж неуловимую грань между жизнью и смертью. А на следующий день море неподвижно, как прозрачный мраморный пол. Из бездны поднимаются диковинные рыбы и с брезгливым любопытством разглядывают повисшие паруса нашего пакетбота. Пакетбот назывался «Согласие», что постоянно служило предметом шуток: какое может быть согласие! Ежедневные стычки. Пространство ограничено, людей много – конечно же постоянные ссоры. Рассказывать можно долго, но описать – вряд ли. Теснота ошеломляющая, побыть одному – и говорить нечего. Много времени, особенно поначалу, когда при малейшей качке начинался приступ морской

болезни, мы проводили в койках, вернее, в тряпочных гамаках, подвешенных ремнями к потолочным балкам. Но и потом – как только начинало штормить, капитан приказывал нам убраться с палубы, залечь в эти гамаки и не путаться под ногами. Выспаться в такой, с позволения сказать, койке – большое искусство, которым мы так и не овладели. Кстати, к качке-то мы скоро привыкли. Сама по себе выработалась так называемая морская походка. Ни Юхана Аксея, ни меня уже не одолевали приступы отвратительной тошноты, разве что в сильный шторм.

Но все это будет потом, а пока через две недели мы миновали Готланд. В середине декабря прошли Каттегат, а Рождество отметили в сильный шторм у Доггер-банки. Крен был такой, что вода захлестывала релинг, а при попытке взять риф парус порвало в клочья.

Ровные валы заслонили белую стену Дувра, и после этого мы не видели землю много месяцев. Опытные моряки говорят – хороший признак; уж они-то знают: нет ничего страшнее близкого берега, особенно если не повезет и судно окажется с наветренной стороны: не успеешь вовремя взять рифы, и первый же порыв ветра бросает корабль на острые утесы.

Мы с Юханом выточили шахматные фигуры, нацарапали на полу шестьдесят четыре клетки и играли в свое удовольствие. Выиграть у кузена мне удавалось только при самом

благоприятном стечении обстоятельств, то есть почти никогда, но коротать время за шахматами было куда приятнее, чем целыми днями торчать на палубе и смотреть на однообразный морской пейзаж.

Погода менялась медленно, почти незаметно, но неуклонно – и в один прекрасный день мы обнаружили, что стоим на палубе голыми по пояс и с удочками в руках. Солнце с каждым днем жарило все сильнее, оба обгорели, но потом обгоревшая кожа отшелушилась, и тела покрылись ровным загаром.

Мы пересекали Атлантический океан, но для того, чтобы это понять, приходилось повторять вслух: «Мы пересекаем Атлантический океан». Но даже и в произнесенные вслух слова поверить трудно – настолько дни не отличались один от другого. Казалось, мы стоим на якоре, а вокруг, насколько хватает глаз, все тот же бескрайний и неподвижный, уже надоевший Атлантический океан.

В один из этих неотличимых дней и произошла неприятность, о которой я до сих пор вспоминаю со стыдом.

Стоял густой туман. Трудно сказать, то ли он поднимался от воды, то ли облако спустилось на море. В который раз я залез на рею фок-мачты – там была маленькая смотровая площадка под названием «марс». Был полный штиль; я пытался уловить хотя бы малейшую качку, но площадка была совершенно неподвижна, как деревянная скамья на суше.

Под ключьями тумана угадывалась матово мерцающая поверхность океана. Угадать, где кончается небо и начинается море, почти невозможно. Единственное место на всем пакет-боте, где можно побыть в одиночестве; и, должен признать-ся, тут, на марсе, постоянно грызущая меня тоска по Линнее Шарлотте становилась менее острой и мучительной. То есть тоска присутствовала; она всегда со мной, не было часа, чтобы я не вспомнил о любимой. Но здесь, между небом и океаном, приходили и другие, светлые воспоминания. Я вспоминал часы, проведенные с ней, наши игры, детскую нежность... и, конечно, единственный поцелуй, перевернувший мою жизнь...

Я погрузился в воспоминания и не сразу заметил, что дрожу от холода. Рубаха совершенно промокла от тумана и прилипла к телу. Онемевшими пальцами схватился за вант, соскользнул с мачты и побежал переодеться.

Около своей койки я увидел Юхана Аксея, погруженно-го в чтение настолько, что он даже меня не заметил. Оказывается, кузен открыл мой сундучок и читал... читал не что-нибудь, а мое письмо Линнее Шарлотте, которое я начал еще в Копенгагене и, разумеется, не имел никакой возможности отправить. Увидев меня, он смутился и с виноватым видом начал бормотать извинения.

Я застал шпиона, подслушавшего мои самые тайные, самые заветные слова... Слова, обращенные к единственному человеку во всем мире! Вырвал письмо, дрожащими руками

расправил... а что было дальше, не помню. Целый отрезок времени начисто выпал из памяти. Уже во второй раз – впервые такое произошло со мной после памятного разговора с отцом.

Когда я пришел в себя, обнаружил, что нахожусь уже не в трюме, а на палубе «Согласия», а Юхан Аксель лежит передо мной в разорванной рубаше, из носа ручьями течет кровь. Меня это потрясло до глубины души, но, клянусь, я совершенно не помнил, что произошло и как мы оказались на палубе. Начал бить озноб, я задохнулся так, что закололо в груди и во рту появился металлический вкус. Сжатые в кулаки руки бессильно упали. Юхан Аксель, очевидно, сообразил, что припадок ярости закончился, и опустил поднятые в попытке защититься руки. Страх в его взгляде сменился удивлением и тревогой. Я начал бормотать что-то невнятное, но тут появился капитан Дамп – ему, очевидно, доложили о драке.

– Будешь валяться в грузовом отсеке! – прорычал он, схватил меня за мокрый ворот, но, увидев, что я не оказываю никакого сопротивления, смягчился и добавил: – Если такое повторится еще хоть раз!..

Юхан Аксель поднялся на ноги, вытер кровь рукавом рубашки и, положив мне руку на плечо, повел в трюм.

– Прости меня, Эрик, – сказал он так, что я понял: ему очень стыдно. – Я бы ни за что... но ведь твой отец заплатил за мое путешествие и велел следить, чтобы ты не делал глу-

постей. Думаешь, он не догадывается, что ты попытаешься писать своей возлюбленной? Мало того – я-то, дурак, вообразил, что шпионю за тобой для твоей же пользы. Все-таки ты еще не совсем взрослый, а мы забрались в такую даль... Я понял, Эрик. Больше этого не повторится. Даю слово. А мои отчеты твоему отцу, если хочешь, будем писать вместе. Давай дружить... обещаю быть тебе таким верным оруженосцем, каким не мог похвалиться ни один рыцарь.

Он улыбнулся этому напоминанию о наших детских играх в крестовые походы и протянул мне руку. Я принял рукопожатие со смешанным чувством стыда и благодарности.

В конце февраля на горизонте появился Антигуа, а еще через несколько дней наш пакетбот, борясь с лобовым ветром, который моряки называют «мордотыком», подошел к входу в гавань и встал на рейд: при таком ветре заход в гавань невозможен.

Попробую описать Бартелеми таким, каким он предстал перед моими глазами.

Мы бросили якорь и двое суток стояли на рейде в ожидании ветра, который позволил бы безопасно войти в гавань. Я представлял Бартелеми, как цветущий зеленый рай в безбрежном голубом океане. Волшебные яркие птицы, невиданные деревья, плантации табака и сахарного тростника. А увидел рыжие охристые утесы, будто океан показывает нам огромный кулак. Вся растительность представлена зацепившимися за скалы чахлыми кустами. Мне почему-то вспомнились слова д'Аркура из трагедии де Беллуа⁸: «Чем больше я вижу чужие края, тем сильнее тоскую по своему». Оставалось надеяться, что такая хмурая и неприветливая картина открывается путешественнику только со стороны гавани. А стоит взобраться на эту корявую скалу – и уж там-то откроются райские кущи. На такую мысль наводило и множество скопившихся на рейде кораблей – как ни скудна на вид эта земля, первое впечатление обманчиво: поклонников хватает.

После долгого ожидания настала и наша очередь. Одномачтовый куттер⁹ с лоцманом провел нас между прибреж-

⁸ Де Беллуа, Пьер-Лоран – французский актер и драматург XVIII века.

⁹ Одномачтовое парусное судно с гафельным вооружением. Использовалось

ными рифами в гавань, устроенную в естественном заливе, вход в который, как Сцилла и Харибда, охраняли две скалы. Вода в лагуне на удивление прозрачна. Кажется, до мелких гребешков песка на дне можно дотянуться рукой. Но это ощущение обманчиво – глубина достаточная, и все суда свободно входят в гавань, за исключением, может быть, тех, у которых осадка превышает допустимые двенадцать футов. Медленно следуя за куттером, мы миновали множество кораблей, на которых красовались флаги чуть не всех известных мне стран. Некоторые флаги я видел впервые.

В глубине залива – город Густавия, названный в честь основателя колонии, его величества короля Густава III. Его же имя носит и возвышающийся над городом форт на холме. Внушительные орудия форта направлены на узкий вход в гавань – на случай пиратских набегов. У пушек есть и другое назначение – каждое утро одна из них будит город оружейным залпом.

В нашу честь на флагштоке на причале подняли шведский вымпел, капитан приказал сделать то же самое. Затем капитан приказал бросить якорь, и наше «Согласие» остановилось точно на указанном лоцманом месте. Примерно через час Юхан Аксель и я спустились в присланную за нами шлюпку и еще через четверть часа ступили на берег – впервые за много месяцев.

Городу нет еще и десяти лет, но не было никаких сомне-

ний: во-первых, он шведский, а во-вторых – один из самых крупных в королевстве. Мы довольно долго стояли на причале и наблюдали. Если раньше я не совсем точно осознавал значение выражения «жизнь кипит», то теперь понял, как оно выглядит, это кипение. По шатким мосткам на берег выкатывали бесконечной чередой какие-то бочки, сновали, как муравьи, баркасы с фруктами и рыбой – ни я, ни Юхан Аксель никогда не видели ни таких фруктов, ни такой рыбы. На сложенных из камней массивных и по виду очень надежных фундаментах стояли большие деревянные дома. Некоторые из их обитателей предпринимали тщеславные попытки развести сад, но, судя по результатам, неравная борьба с тропическим солнцем и недостатком воды обречена в этом месте на провал.

А мы обливались потом – надели наше лучшее платье, хотели произвести впечатление. И, конечно, изнемогали от жары.

Здесь, оказывается, почти все чернокожие – я таких видел только на картинках. Все они полуголые, а женщины если и были завернуты в какие-то цветные тряпки, то на грани, а может, и за гранью приличия. Белых тоже было немало, но те носили длинные белые брюки, легкие рубахи и шляпы – рассчитывали, наверное, что шляпа защитит от солнца по крайней мере лицо.

Мы очень быстро поняли, насколько одежда выдает в нас чужаков, и поспешили ретироваться. Шли по пыльным ули-

цам и спрашивали, как пройти к дому губернатора. Все, кого мы останавливали, говорили по-французски, но с таким странным выговором, что мы понимали с большим трудом, а то и вовсе не понимали – хотя и Юхан Аксель, и я были уверены, что владеем французским вполне прилично.

Чем дальше мы удалялись от Каренаген – так называется гавань, – тем скромнее и меньше становились дома, а вскоре мы оказались в районе, застроенном кое-как сколоченными из бросового горбыля хижинами с земляным полом. Убогие жилища, впрочем, нисколько не мешали их владельцам вести оживленную торговлю. Странное место – здесь не было даже намека на систематическую застройку. Сплошной лабиринт без какой-либо возможности сориентироваться. И самое главное – скрытая злоба, которую я почувствовал еще в гавани, здесь была уже не скрытой, а явной. Пьяные парни специально шли нам навстречу, и если мы не успевали посторониться, осыпали отборной руганью – чаще всего французской, но иногда и английской. Под пальмовыми навесами сидели сильно потрепанные женщины и выкрикивали сумму, которую нам предстояло бы заплатить за их услуги. Услышав отказ, они ругались и подвергали сомнению наши мужские достоинства. Мужчины предлагали ром, и наше нежелание купить его повергало их в ярость – ругались так, что уши вяли. Нам пришлось чуть не бежать, но за нами все время следовала стайка детей. Им почему-то казались очень смешными наши наряды: короткие брюки до колен, шелковые чулки

и камзолы с золотым шитьем.

В конце концов нашелся прохожий, более или менее толково объяснивший, как найти дом губернатора.

Темнокожий лакей в ливрее принес по кружке теплого пива и попросил подождать. Салон был меблирован очень странно: грубые местные поделки соседствовали с изящной мебелью, наверняка привезенной из Швеции. Ждать пришлось недолго: тот же слуга с поклоном проводил нас в кабинет.

Губернатор Багге, несколько ожиревший пожилой мужчина лет сорока-пятидесяти, сидел за столом в рубашке с короткими рукавами и с большими, как блюда, пятнами пота подмышками.

Мы поклонились. Он вытер носовым платком красную от жары физиономию, кивнул и, немного повозившись, извлек из кучи бумаг на столе письмо. Я сразу узнал почерк отца.

– Господа Тре Русур и Шильдт, – произнес он довольно торжественно, – мы ждали вас уже несколько недель назад. Но мореплавание, как известно, чревато опасностями... решили, что ваш корабль потерпел кораблекрушение. Вы, разумеется, обратили внимание: я принимаю вас в высшей степени неформально. Это значит, что и в дальнейшем не собираюсь требовать, чтобы вы ради меня одевались согласно правилам этикета, принятым в наших северных широтах. Так что постарайтесь как можно быстрее научиться следо-

вать местным обычаям. Среда обитания, сами видите... Среда обитания требует практичности.

Произнеся эти загадочные слова, он потянулся за графином, налил полный стакан темной, резко пахнущей жидкости и залпом осушил.

– Дел у нас очень много, а людей мало, так что работу для вас найти проще простого. Но я должен присмотреться, определить ваши таланты и склонности и решить, какие должности подошли бы вам более иных. Но спешки нет. Нет... чего нет, того нет. А пока расскажу, что вас ждет в ближайшее время. Если вас удивит моя прямота, рекомендую привыкать. Начнем с того, что каждый прибывший на Бартеlemi в самом скором времени заболевает лихорадкой. Вас это, возможно, удивит, но до сего времени никому не удалось избежать этой участи. Зараза таится в воздухе, которым вы дышите, в воде, которую вы пьете, в еде на вашем столе. Большинству, разумеется, удастся выдержать этот приемный экзамен тропиков. Но не всем, не всем... те, кто послабее, умирают. Так что, надеюсь, вы не сочтете оскорбительным, если я не буду тратить на вас больше времени, чем необходимо. Поэтому вот мой первый приказ: возвращайтесь в Каренаген и найдите господина Алекса Дэвиса. Он поможет вам снять жилье. Используйте время, которое вам отпущено, прежде чем свалитесь в лихорадке. Ознакомьтесь с Густавией, насколько успеете. Найдите также Фальберга, нашего медика. Он в колонии с первых

дней, так же, впрочем, как и я. Фальберг знает о колонии все, что имеет смысл о ней знать. И еще вот что: скажите Дэвису, что я прошу позаботиться о вас в период конвалесценции. Если, вы, конечно, до этого периода доживете. Будет судьба к вам благосклонна, увидимся снова. Кстати... полезно знать еще вот что: мы живем, строго говоря, по законам шведского королевства... но сами понимаете: применять эти законы в полном объеме тут, знаете ли, не удастся. Гарнизон ничтожно мал, а грешников – пруд пруди. Поэтому будьте настороже. Закон – законом, но в обыденной жизни действует право сильного. И если вы сами не наделены необходимой физической силою, лучше держаться подальше, и... – Он прервался на полуслове. Видно, пытался вспомнить, какие важные наставления упустил из вида, и с неожиданным энтузиазмом произнес: – Желаю счастья, господа!

И махнул рукой – дескать, аудиенция закончена, у меня еще дел – пруд пруди.

Мы, ошеломленные обрушившимися на нас сведениями, церемонно поклонились и пошли в гавань. Ноги слушались плохо. Частью из-за уже въевшейся в привычку и внезапно отмененной морской качки, но главным образом из-за грозных предупреждений и предсказаний.

По дороге к морю мы увидели настолько странное зрелище, что замерли на месте. Навстречу шел чернокожий молодой мужчина. Мы уже немного привыкли к чернокожим

туземцам, но этот передвигался так странно, что страннее и вообразить невозможно. Он шел с костылем, и я сначала подумал, что у него нет одной ноги, однако пригляделся и увидел, что обе ноги на месте, но на шее – железный ошейник с перекинутой за спину цепью. Цепь прикована к лодыжке и настолько коротка, что нога заломлена так, что пятка касается лопатки. И на шее, и на лодыжке – гноящиеся ссадины. При каждом шаге бедняга издавал тихий жалобный стон. Он прошел мимо, и я увидел, что спина его исполосована глубокими незажившими шрамами. Я был в полном недоумении – что с ним?

– Может, он пиетист? – спросил я, повернувшись к приятелю.

Юхан Аксель после случая на паруснике не особенно охотно делился со мной своими мыслями. Задумчиво покачал головой, но не промолвил ни слова.

Александр Дэвис, или Алекс, как его все называли, энергичный жилистый англичанин, зарабатывал на хлеб всеми доступными способами. Более чем скромные островные хлопковые плантации едва окупались, поэтому главный доход приносили кабаки и постоялый двор. Эти заведения пользовались большой популярностью, хотя хозяин не особо заботился поддерживать их в пристойном виде. Кабак, который он называл на английский манер «паб», всегда был полон. Столами служили рассохшиеся бочки из-под пива, а у хозяина всегда хватало времени перекинуться парой слов с каждым из гостей, при этом не забывая записать на дощечке в углу, кто и сколько кружек выпил.

Он принял нас довольно неприветливо. На странном островном диалекте, где шведские и английские слова приправлены простейшими французскими ругательствами, он объяснил, что свободных комнат нет. И лишь после долгих уговоров согласился поселить нас в маленькой каморке, но только за дополнительную плату. И наскоро объяснил, на какие услуги мы можем рассчитывать на случай неизбежной, по его мнению, лихорадки. Можете нанять служанку. Вода, жидкий суп, ром.

Последние слова он произнес с ухмылкой, достал бутылку рома и налил три стакана – обмыть сделку. Напиток по-

началу показался мне отвратительным. Но, чтобы не выглядеть желторотым юнцом, я переборол себя и сделал несколько глотков. Почувствовал сладковатый привкус тростниковой патоки и араки – не так уж плохо, особенно если развести водой. А самое главное – беспричинная тревога, мучившая меня с первого шага на острове, растворилась и исчезла. Я даже не заметил, в какой момент. Впрочем, тревога была, скорее всего, не такой уж беспричинной – все, что я видел вокруг, казалось непривычным и угрожающим.

Рассвет и сумерки на этих широтах – понятия весьма относительные. А точнее сказать, они попросту отсутствуют. Ночной мрак падает за несколько секунд, будто кто-то набрасывает на остров покрывало. Темень непроглядная, даже не верится, что где-то есть солнечный свет. Но утром так же мгновенно, будто выпрыгивает из-за горизонта, появляется солнце и нещадно жарит весь день.

В первый же вечер, кое-как распаковав наши вещи, мы решили прогуляться, осмотреть Густавию поподробнее – но какое там! Едва открыли дверь, погрузились в такую тьму, что собственной руки не видно. Выйдешь – тут же заблудишься. Азарт первооткрывателей мгновенно прошел, и мы сообразили, что очень голодны.

В обеденном зале постоянного двора, если его позволено так называть, происходило нечто странное. В середине комнаты выгорожена посыпанная песком круглая площадка. К ней подходили и подходили люди с улицы, так что в кон-

це концов площадку окружили так, что стало невозможно разглядеть, что там происходит. У некоторых в руках были большие клетки. Нам принесли вареное мясо и хлеб. Мы быстро поели, оглядываясь и пытаясь сообразить, что к чему. Тем временем то в одном, то в другом конце комнаты возникало оживленное движение, слышался звон монет. Люди отходили, сжимая в руке крошечные билетки, и проталкивались к площадке. Мы тоже подошли поближе. Не встав на цыпочки, разглядеть происходящее было невозможно.

На арену вынесли двух петухов. Их подтащили друг к другу намного ближе, чем они сами того хотели, – это было понятно, потому что красивые птицы отчаянно отбивались. Но деваться некуда, и петухи принялись, хлопая крыльями, насакивать друг на друга. Я разглядел показавшуюся мне отвратительной подробность: к их шпорам нитками примотаны маленькие тускло поблескивающие лезвия. Буквально через минуту одному из петухов удалось распотрошить брюшко соперника так, что начали вываливаться внутренности. Победенный, судорожно дергая лапами, упал на спину, а поставившие на победителя побежали получать выигрыш. На площадке появилась следующая пара, и так продолжалось довольно долго. По обе стороны входной калитки росли сугробы мертвых птиц.

В помещении стало очень тесно. Пробраться к выходу не было никакой возможности, так что мы предпочли стоять на месте и вскоре стали свидетелями нарастающей ссоры. Ка-

кой-то дядька, выпивший, очевидно, куда больше, чем позволял его организм, требовал назад деньги от букмекера, давшего ему неправильный совет. За обманщика заступился здоровенный детина, наверняка состоящий у жуликоватого букмекера в охранниках. Он был тоже изрядно пьян, но размеры его были таковы, что не оставляли сопернику никаких шансов. Скандалист получил несколько здоровенных затрещин, но не успокоился. Он вытащил из-за голенища нож, бросился на обидчика и полоснул. Очевидно, рана была не особенно серьезной, но гигант пришел в ярость. Для начала он ударил противника ногой в пах, затем последовал удар кулаком в висок, а когда тот, оглушенный, свалился на пол, сел на него верхом и продолжал молотить по физиономии.

Полюбовавшись зрелищем, работодатель хлопнул детину по плечу – видимо, посчитал, что достаточно. Тот неохотно поднялся и ушел – должно быть, перевязать рану. Толпа неохотно расступилась – береженого Бог бережет. Только когда победитель встал, мы увидели лицо избитого – оно было неузнаваемо. Челюсть вывихнута, вместо глаз – кровавые лужи, нос – бесформенный комок с торчащими осколками кости. Дэвис протолкался к избитому, прислушался к неровному, булькающему дыханию и пожал плечами. После чего бросил на окружающих многозначительный взгляд. Те как по команде отвернулись, а он, не торопясь, закрыл широкой ладонью рот и нос. Несчастный начал было дергаться, но Дэвис терпеливо ждал, пока жертва не перестала сучить

пятками по полу.

– Добро пожаловать в Бартелеми, ребятаки, – Дэвис внимательно глянул на нас и неожиданно подмигнул. Его помощники взвалили труп на петушинные тушки. – Понравилось представление? Имейте в виду: каждую вторую неделю собачьи бои, а каждую третью – негритянские.

Наконец нам удалось протолкаться к выходу. Последнее, что мы заметили, – один из слуг Дэвиса кончиком ножа выкорчевывал изо рта покойника золотой зуб.

Никто не возражал.

В ту ночь я долго не мог заснуть. Не только из-за жары и укусов неизвестных насекомых, в изобилии летающих и ползающих в нашей камерке. У этих тварей, казалось, и в мыслях не было ничего другого, чем цапнуть меня в незащищенное место.

Здесь, в этом диком и, честно говоря, страшноватом городе, тоска по Линнее Шарлотте была почти невыносимой.

На следующий утро мы пошли искать Сэмюэля Фальберга. Это оказалось делом нетрудным – мы застали его дома в превосходном настроении. Он только что позавтракал и любезно предложил нам остатки кофе.

Мы разговорились. Фальбергу на вид лет тридцать-сорок, но он совершенно не растерял юношескую живость. Оказалось, медицинская наука вовсе не исчерпывала его богатых и разнообразных знаний островной жизни. Он прибыл сюда

одним из первых шведов-колонистов на «Спренгтпортене»¹⁰ – почти сразу после покупки острова у французов, и даже принимал участие в строительстве и планировке города.

– Хвастаться особенно нечем, сами видите, – подытожил доктор короткое вступление. – Здесь в движении такие, знаете ли, силы... ни лотом, ни линейкой не измерить.

Я решил и рассказал про виденную накануне сцену в таверне.

– В *набе*, – поправил меня Фальберг с усмешкой. – Ничего удивительного... Пойдемте, мне надо навестить кое-кого из пациентов. Буду рассказывать по дороге.

Мы вышли на улицу, и он несколько раз помахал ладонью у лица, будто старался отогнать раскаленный воздух.

– Когда мы, пионеры, прибыли сюда, остров был почти необитаемым. Чтобы первая в шведской истории колония приносила хоть какой-то доход, ее нужно было заселять как можно быстрее. Объявили, что отныне остров принадлежит шведскому королевству и, само собой, подчиняется шведским и только шведским законам. И что же за этим последовало? А вот что: все, кто скрывался от карающей руки правосудия в других странах, получили шанс на новую сдачу из новой колоды. Воры, пираты и убийцы прибывали сюда *en masse*. Воры, пираты и убийцы – вот три кита, на которых

¹⁰ Йоран Магнус Спренгтпортен (1740–1819), в честь которого назван корабль, – шведский дворянин, барон, впоследствии перешел на службу к русскому императору.

покоится наш остров. Тому, кто хотя бы примерно знает, как перевязать рану и вправить вывих, работы здесь по горло. И кого мне за это благодарить? Дьявола?

Я с трудом улучил момент, чтобы вклиниться в его монолог, и рассказал, что слышал его имя еще дома, в Тре Русур, – от домашнего учителя. Ему это заметно польстило и послужило поводом для целой лекции. С его слов, остров представляет огромный научный интерес – как для геологов, так и для зоологов и ботаников.

Мимо прошла женщина с корзиной фруктов на голове. Я удивился – она даже не придерживала ее руками! Сравнительно светлая, намного светлее, чем все, попадавшие нам по дороге. Я проводил ее взглядом и посмотрел на нашего гида. Он понял мой немой вопрос и улыбнулся.

– Многие европейцы предпочитают цветных любовниц, – сказал Фальберг, как мне показалось, несколько смущенно, будто открывал какую-то не особо приличную тайну. – Конечно, шведскому Бартелеми всего десять лет, но до нас здесь бывали и англичане, и голландцы. Веками. Так что плодов их любвеобилия на острове довольно много. И у каждого свое название, – он начал загибать пальцы. – Потомки негритянки и белого мужчины называются *мулаты*. Если негритянка рождает от мулата, ребенок называется *самбо*, иногда *кадре*. А ребенок белого и мулатки, или наоборот, мулата и белой – это *метис*. Метиска с белым поскорее зачинает *квартирона*, или *мамблу*. А уж у отпрысков мамблу и белых

негритянская кровь разведена настолько, что и не угадаешь.

– Скажите, господин Фальберг, – впервые нарушил молчание Юхан Аксель. – Мы, конечно, мало что успели повидать... но непохоже, чтобы остров отличался завидным плодородием. Солевые бассейны там, у моря, вряд ли приносят большой доход. Чем же живут здесь люди?

Странно – этот простой вопрос не то чтобы застал Фальберга врасплох, но заставил задуматься.

– Если Багге еще не просветил вас на этот счет, лучше спросите у него... в общем, наберитесь терпения.

И пообещал на прощание – если свалит лихорадка, он обязательно нас навестит.

Лихорадка настигла нас в тот же вечер. Юхана Акселя внезапно начал трясти озноб, да такой, что зуб на зуб не попадал. Несмотря на изрядную жару, он никак не мог согреться. Я нахлобучил на него всю нашу зимнюю одежду. А через пару часов пришла и моя очередь.

Я почти не помню следующие дни. Мы оба, Юхан Аксель и я, лежали пластом в постели, то задыхаясь от жара, то дергаясь в ознобе. Цветная служанка Дэвиса время от времени приносила кастрюлю бульона с плавающими в нем кусочками хлеба и кормила нас с ложки. Еда в организме не удерживалась: проглотив пару ложек, я сгибался в три погибели над ночным горшком в приступе мучительной рвоты. Иногда спазмы были так сильны, что я промахивался, часть рвотных масс попадала на пол, и вокруг лужицы тут же собирались на пир жуки и другие странные на вид насекомые – наверное, единственные на всей планете существа, кому моя болезнь шла на пользу. Несколько дней я был как в тумане; смутно помню какие-то лица: служанка, Фальберг, кабатчик Дэвис, Юхан Аксель – то ли наяву, то ли нет.

Свирепые ознобы никак не удавалось унять, и я утешал себя мыслью, что скоро все кончится, ручеек моей жизни иссякнет и наступит вечный покой. На койке рядом, с трудом шевеля губами, бредил Юхан Аксель. То и дело возникали видения, и я уже не мог, да и не старался отличить их от реальности. Возникающие в мозгу картины сменяли друг друга в случайном порядке, как в волшебном фонаре; они не признавали ни географии, ни хронологии.

И каждый раз застревали на поцелуе Линнеи Шарлот-

ты, главном событии моей еще очень короткой жизни. Все остальное блекло и выцветало, и я непрерывно клялся сделать все, чтобы повторить этот чарующий миг и призывал на помощь все тайные силы, управляющие миром. Помню, мне было совершенно все равно, что это за силы: добрые или злые.

Следующее воспоминание: яркий свет и неизвестно откуда взявшийся ветер. Я открыл глаза. У моей койки стоял Сэмюэль Фальберг. Он довольно улыбался, придерживая рукой раму открытого окна.

– Ну что ж, Эрик, кризис миновал. Дело пошло к выздоровлению. Добро пожаловать в мир живых.

Я с трудом повернул голову. Койка рядом была пуста и застелена.

– А Юхан Аксель? Неужели...

– Нет-нет, – Фальберг поднял ладонь. – Из вас двоих у юного господина Шильдта конституция оказалось покрепче. Он уже четыре дня как на ногах. Здоров, можно сказать. Достаточно здоров, чтобы начать службу. Вы тоже скоро поправитесь, только вам нужно отъесться. Вы и так полностью не могли похвастаться, а сейчас – кожа да кости. Служить можете разве что препаратом в анатомическом театре.

После полудня я, хоть и не без труда, встал – впервые за две недели, как мне сказали. Добрел до берега и долго отдыхал, сидя с одеялом на плечах и машинально пересыпая го-

рячий, шелковистый песок.

Внезапно рука моя на что-то наткнулась. Камешек. Вроде бы камень как камень, но я никогда не видел подобных камней. Странный, неправильной формы, больше похож на обломок сучка. Опалового цвета, с необычными углублениями. Моих познаний было явно недостаточно, чтобы определить, что это за камень. Я вспомнил данное Лундстрёму обещание – прихватить с собой как можно больше тропических курьезов.

Несколько минут спустя за мной пришел обеспокоенный Юхан Аксель. Я положил камень в карман.

Уже через пару дней я почувствовал себя достаточно окрепшим. Отскреб многодневный загустевший пот, надел чистую одежду, которая оказалась изрядно велика, и предстал перед губернатором Багге. Он поздравил меня с выздоровлением и покачал головой с таким выражением, будто хотел добавить: «Не ожидал, не ожидал».

– Если вы такой же сообразительный, как ваш родственник, польза для острова несомненна.

Оказывается, Юхану Акселю уже поручили вести нотариальные записи, но мне, по причине юного возраста, как выразился губернатор, он предложил попробовать себя в разных ипостасях. Я хотел было возразить – что вы, я только выгляжу моложе из-за хрупкого сложения, Юхан Аксель всего на год старше, и я вполне могу справиться с любой работой... Хотел возразить – и не возразил. Прикусил язык.

– Для начала вы с Шильдтом проверите груз на только что прибывшем корабле. Господин Шильдт уже знает, как это делается.

Получалось так, что я внезапно оказался подручным Юхана Акселя. Меня это немного обидело, и всю дорогу до Каренаген мы прошли молча. Ему, похоже, тоже было не по себе, кузен явно чувствовал себя не в своей тарелке.

– Эрик, – сказал он примирительно. – Пока ты болел, я довольно много узнал про жизнь в колонии. Я уже был на таком же корабле пару дней назад... Не знаю, как тебе сказать... сам посмотришь. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Но советую – держи себя в руках. Обещаешь?

Я мрачно кивнул. Уже второй раз за день я почувствовал себя ребенком, которому прочитали незаслуженную нотацию.

Мы спустились в длинную шлюпку, уселись спина к спине на корме, и гребцы оттолкнули лодку. Прибой был нешуточный, лодку качало, и наши лопатки то и дело соприкасались, словно море подталкивало нас к примирению, хотя никто ни с кем не ссорился. Чем дальше от берега, тем море становилось спокойнее. Мы обогнули мыс, и я увидел стоящий на рейде корабль. По мере приближения все сильнее становился странный и неприятный запах над водой. Юхан Аксель прижал к лицу носовой платок, сам я старался дышать ртом, а гребцы словно бы ничего не замечали. Мы подошли бор-

том к трапу, и у меня уже не было сомнений – запах исходил вовсе не от гниющих водорослей, как я подумал. Вонял сам корабль. Что же за груз мы должны инспектировать?

Капитан встретил нас на борту и представился: Джонс, имени я не расслышал. Разговор шел на английском, Юхан Аксель делал какие-то пометки в своих бумагах.

– Хотите осмотреть груз?

Мой кузен утвердительно кивнул, и капитан подошел к квадратному возвышению на палубе и открыл люк в трюм.

– Ради нас обоих, сохраняй спокойствие, – шепнул Юхан Аксель и сжал мне запястье.

В трюме запах был так силен, что, казалось, обрел физический облик, как дым от очага или туман. Я сделал тщетную попытку отогнать его, помахал рукой перед носом, но никакого успеха, разумеется, не достиг и опасно заглянул в трюм. Подошедший матрос заметил мои колебания, сделал приглашающий жест и исчез в люке. Я последовал за ним. Мы начали спускаться по лестнице. Примерно на середине матрос остановился и зажег фонарь. Несмотря на жуткую жару, я похолодел: из темноты на меня смотрели сотни человеческих глаз. Не знаю, о чем меня пытался предупредить Юхан Аксель, но даже в страшном сне я не представлял, что увижу пересекающий океан ад.

Они лежали на трюмном настиле рядами, голые, прикованные друг к другу ржавыми цепями. И между рядами тоже, под углом, – старались, видно, использовать каждый дюйм.

Мужчины, женщины и дети, втиснутые в пространство высотой не больше трех-четырёх футов высоты. Тела блестели от пота, люди лежали в собственных испражнениях, лужах кровавой рвоты и покачивающихся озер мочи, взбитой качкой в неоседающую пену. Среди них были и умершие – те лежали лицом вниз. Мухи жужжали так, что жалобные стоны были почти не слышны. К тому же их заглушал глухой звон цепей.

Но самое страшное – глаза. Эти глаза я не забуду никогда. Глаза, полные свирепой жаждой мести за каждый удар, за каждое унижение, которым их подвергают. Но еще хуже другие – равнодушные, ничего не выражающие, как у животных. Не надо особой проницательности, чтобы понять: души этих людей мертвы.

Дальше – больше. Оказалось, трюм разделен на несколько этажей. Мы были в самом верхнем, под нами еще один, а там еще бог знает сколько. Оттуда, снизу, глухо доносились стоны и сдавленные крики на незнакомом мне языке. Я подумал, что там еще хуже – вниз наверняка стекают все нечистоты через щелястые, наспех сооруженные дощатые настилы.

– Каждый взрослый негр, – назидательно сказал матрос, будто не замечая, что я близок к обмороку и держусь на ногах только потому, что ухватился за свисающий откуда-то обрывок каната, – каждый, ну... мужчина, значит, занимает пространство шесть футов на полтора. Женщины пять на полтора, дети – четыре на один. Так мы грузим в среднем пятьсот

рабов. Их свои же продают. – Он заметил мой полный ужаса взгляд, пожал плечами и ответил на невысказанный вопрос: – За стеклянные шарики.

Я в панике начал карабкаться по довольно крутой, небрежно сколоченной лестнице. Джонс, увидев, в каком я состоянии, весело захохотал, уперши руки в бока. Потом повернулся к Юхану Акселью.

– Итак? Каков нынче курс? Что скажете о ценах?

Юхан Аксель начал сыпать цифрами. Джонс стоял, глядя в небо и шевеля губами, – видно, производил в уме какие-то сложные вычисления. В конце концов он посмотрел на моего кузена и расплылся в довольной улыбке.

Я не выдержал, бросился к релингу и меня начало выворачивать наизнанку. Чудом не заблевал шлюпку, на которой мы прибыли.

– Вы должны извинить его, – спокойно произнес Юхан Аксель, – он долго лежал в лихорадке и еще не со всем здоров.

По пути на берег он обнял меня за плечи – я никак не мог унять озноб, хотя солнце палило вовсю.

– Ты справился отлично, Эрик, – сказал он. – Куда лучше, чем я. Я свалился без чувств. Багге поспешил объяснить мой обморок солнечным ударом. – Юхан Аксель поднял голову и глубоко вдохнул свежий, солоноватый, пахнувший йодом морской воздух. – Это и есть главная тайна Бартелеми. Самый крупный рынок рабов на Антильских островах – пред-

ставь только, *рынок рабов на шведской земле...* Здесь свободная зона, продавец не платит пошлин, а покупатель... покупатель платит минимальный налог на экспорт. Сейчас дела идут особенно хорошо. Англичане объявили войну Франции, голландцы у них в союзниках. Все перессорились, и теперь шведский остров – единственная нейтральная зона в Вест-Индии. Работоторговцам с африканского берега больше и пристать некуда.

Таково было мое первое знакомство с мрачными тайнами Бартелеми. Мог бы догадаться и раньше, но так со мной почти всегда: чтобы что-то понять, мне нужно больше времени, чем другим. Я почти уверен – Юхан Аксель догадался раньше, или, может, предполагал что-то в этом роде. Он был лучше подготовлен. Ему оказалось легче приспособиться к царящим на острове порядкам. Но для меня увиденное стало настоящим испытанием. Все тяжелее стало выдерживать взгляды цветных обитателей Густавии. Только маленькая горстка из них была выкуплена и пользовалась относительной свободой. Остальные же состоят в рабстве у людей с более светлой кожей. И почему эти несчастные должны относиться ко мне лучше, чем к другим порабощенным?

Страх, отвращение и ненависть под белозубой маской показной услужливости.

Очень скоро стало ясно: я почти не пригоден ни к какой государственной службе. Я, конечно, и так знал, что с цифрами у меня дело обстоит так себе. Никакой неожиданности, но остров словно бы лишил меня и прочих, пусть скромных, дарований. Талантом лицедейства я обделен, поэтому Багге и его подручные быстро поняли мотивы моих поступков. По их мнению, я чересчур чувствителен, а чересчур чувствительные особы доверия не заслуживают. В любую минуту у

такого человека чувства могут возобладать над разумом, и неизвестно, чего от него ждать.

Меня стали сторониться. Двери закрывались перед носом. Едва я появлялся, разговоры замолкали. Наконец мне нашли работу – думаю, с целью побороть мою излишнюю сентиментальность. Мне поручили вести протокол исполнения наказаний и подсчитывать, не занизил или не превысил ли профос¹¹ количество ударов кнутом.

– Арифметику, конечно, не назовешь сильной стороной господина Тре Русур, но, думаю, палочки на бумаге... с этим-то вы наверняка справитесь.

Не особенно понимая, что меня ждет, я взял бумагу и письменные принадлежности и отправился в форт на холме с северной стороны залива. Немного задержался, и меня уже с нетерпением ждали. На площадке стояли пушки, обращенные к входу в Каренаген, – как я уже писал, на случай пиратского нападения. Вид на залив отсюда, с высоты, был головокружительно красив. Даже Густавия на расстоянии казалась довольно привлекательной. Рядом с пушками стояла небольшая группа людей и несколько солдат гарнизона в выцветших под тропическим солнцем мундирах.

Распорядитель достал карманные часы, покачал головой и бросил на меня многозначительный взгляд – нельзя было более демонстративно выразить недовольство моим опозда-

¹¹ Служитель, приводящий в исполнение приговоры, связанные с телесными наказаниями.

нием. Я ожидал выговора, но ему было не до меня. Два солдата вели чернокожую женщину. Я употребил неверное слово – «вели». Они не вели ее, а волокли, она бессильно повисла у них на руках. Грязные тряпки едва прикрывают тело, истощена так, что ребра можно пересчитать. И... о Боже! Она беременна! Мало того – судя по размеру живота, может родить со дня на день.

По земле змеилась связка кожаных ремней, привязанных к колесу пушечного лафета, а примерно в восьми локтях от пушки в землю были вкопаны два столба, с которых свисали такие же ремни. Солдаты подтащили женщину к этому импровизированному эшафоту. К ним подошел хорошо одетый белый человек и начал что-то горячо объяснять на таком гортанном французском, что я почти ничего не понял. Сообразил только, что хозяин рабыни просит о снисхождении и ссылается на ее состояние. Разговор закончился тем, что распорядитель сделал знак двоим солдатам, объяснил им что-то, и те начали копать яму в песке на полпути между пушкой и столбами. Хозяин заметил мою растерянность, подошел ко мне и представился:

– Дюра.

На своем неокрепшем французском я попросил объяснить, что это за яма. Он рассмеялся и одобрительно хлопнул меня по плечу – видно, молодость моя и наивность привели его в хорошее настроение.

– Вам, как я вижу, все здесь в новинку. Попробую объ-

яснить. Рабы очень отличаются по стоимости. Самые дешевые – с берегов Гвинеи. Не понимают язык. Вообще ничего не понимают, их приходится учить, как говорят, с нуля. К тому же как только начинают вспоминать прежнюю жизнь, становятся вообще ни к чему не пригодны. А рабы-креолы намного дороже. Они родились здесь, они всосали рабство с молоком матери. Послушные, крепкие, знающие... – Он даже зажмурил глаза от удовольствия – видно, представил креольского раба.

Я пожал плечами – все эти сведения, может, и важны, но не имеют никакого отношения к моему вопросу.

– Неужели не понимаете? В ее животе двадцать *монт* чистой прибыли! Этот ребенок стоит вдвое дороже привозного раба, и я вовсе не хочу, чтобы он пострадал.

– А яма-то зачем?

– Господи, для пуза же! Для ее пуза! Неужто не сообразил?

Тем временем стражники заставили женщину встать на колени, сорвали с нее одежду, если можно так назвать грязные тряпки, и уложили на землю, втиснув казавшийся теперь особенно огромным живот в вырытую яму. Руки скрутили ремнем и закрепили к колесу лафета. Ноги широко развели, и привязали к столбам. Тело бедняги растянули так, что она едва не висела над землей. Женщина тихо, почти неслышно, плакала.

– Рабыня Антуанетта трижды продавала товары на улице

после наступления темноты, зная про запрещение. Тридцать кнутов.

Профос был тоже чернокожий. Он стянул через голову рубаху и завязал ее рукавами на поясе. Кнут из плетеной кожи, семь локтей, не меньше.

Мы отошли на безопасное расстояние, и он приступил к экзекуции. Между каменными стенам форта заметалось эхо, как от пушечных выстрелов. За каждым следовал истошный крик истязуемой, а на спине и ягодицах вспухали сочащиеся кровью багровые полосы. Я с ужасом заметил – у нее отошли воды. Мутная жидкость, булькающая, стекала в вырытую для живота яму.

Никогда не думал, как это много – тридцать ударов бича. И как долго! Я покосился на толпу и не выдержал.

– Тридцать! – выкрикнул я после девятнадцатого удара, и сам удивился, насколько жалко прозвучал мой возглас на фоне беспощадного свиста бича.

Мышиный писк.

Никто не возразил.

Тело истязуемой время от времени сотрясали судороги, очевидно произвольные – она была без сознания.

Двое рабов подняли сестру по несчастью, кое-как завернули в ее тряпье, положили на носилки и унесли.

Дюра последовал за ними. На прощанье он наградил меня таким взглядом, что я поежился. Ни следа прежнего добродушия.

Мало что соображая, я вернулся в Густавию. Только сейчас я окончательно сообразил: работорговля на острове – дело совершенно обыденное. На берегу выстроен большой сарай. Торги назначаются, как я узнал, через день, но лучший товар приберегают к пятнице. В гавани по пятницам не протолкнуться, парус на парусе – покупатели в Каренаген собираются чуть не со всех близлежащих островов, а корабли с живым товаром приходят каждый день. У причала и в трактире у Дэвиса чего только не слушаешься...

Как-то я зашел поужинать. За соседним столиком вдрызг пьяный капитан рассказывал о постигшем его несчастье, да так громко, что мне было слышно каждое слово. Оказывается, он привез домой в Амстердам груз сахара, удачно продал, накупил разной ерунды, которая в такой цене у туземцев, и направился в Гвинею. Там выменял все эти побрякушки на рабов, причем столько, что, как он выразился, «на шхуне обшивка потрескалась». На обратном пути все шло хорошо, но в Атлантике их застал полный и затяжной штиль. Недели шли за неделями, провиант кончался, а главное – запасы воды. И что было делать? Первую партию живого товара вывели на палубу и стали подталкивать к борту – благо все они были скованы одной цепью. Под тяжестью тел и цепей корабль накренился, и никаких усилий не потребовалось – рабы сами скользили и падали в море.

– Как тысяченожка. – Капитан коротко и горько засмеялся.

Когда последних, избитых в кровь, проволокли по палубе и столкнули в море, стая акул уже кружила вокруг корабля, празднуя неожиданный подарок судьбы.

– Вот и все. – Капитан сплюнул на пол. – Остались только бурые пятна на палубе... черта с два отскоблишь. Каждый день гляжу на них и чуть не плачу. Все мое состояние, год труда – псу под хвост. Начинай все сначала.

В тот же вечер за мной прислали слугу – немедленно явиться к губернатору.

Физиономия у Багге была такая красная, будто его вот-вот хватит удар.

– Франсуа Дюра доложил мне о вашем поведении, – сказал он с плохо сдерживаемой яростью. – Вы что, полагаете, он не считал? Назначено было тридцать, а вы остановили порку на двадцатом. И я хочу вас спросить, Эрик Тре Русур: вы настолько идиот, что не умеете считать, или намеренно прервали экзекуцию?

– Намеренно. Считать я умею.

Я уставился в пол. Мне было почему-то трудно смотреть на его багровую физиономию.

Он шарахнул по столу кулаком так, что чернильница подпрыгнула и едва не перевернулась.

– Слушай меня внимательно, Эрик. – Он поборол приступ ярости и перешел на «ты». – Главное – дисциплина. Суро-

вая и неотвратимая дисциплина. На Эспаньоле¹² уже подняли восстание. Выкупленных рабов там, может, и не так много, но хватило, чтобы заварить кашу среди невыкупленных. Большую часть острова власти не контролируют, и мы просто-напросто не знаем, что там делается. А на Бартеlemi? Рабов тут больше, чем нас. Намного больше. И упаси Бог дать им повод усомниться в нашем превосходстве! Думаешь, ты оказал ей услугу, и она тебе благодарна? Как бы не так! Если тебя оставить с ней вдвоем, будь уверен: никаких причин и следствий. Они это не понимают. Нож, молоток, кирка – и тебе конец. Нет, Тре Русур, только страх перед кнудом удерживает их от бунта. Другой язык они не понимают – только свист бича. Завтра же твоя подопечная получит причитающиеся ей десять кнудов. И будь уверен, если профос и ошибется, то не в меньшую сторону.

Он встал и прошелся по кабинету.

– Но считать будешь не ты, Эрик. Ты злоупотребил моим доверием. Должен признаться – не так-то просто найти тебе занятие на нашем острове. Пока будешь ходить за своим кузенком, как нитка за иголкой, и делать все, что он тебе скажет. Завтра же отправитесь с поручением в глубинные районы. Там-то, думаю, даже от тебя не стоит ждать неприятностей. Но если все же что-то натворишь, последствия будут куда более серьезные. Куда более серьезные...

¹² Большой остров в Карибском море, где ныне расположены два государства: Доминиканская Республика и Гаити.

Что-то изменилось в его голосе, и угроза прозвучала не особенно убедительно. Он снова сел за стол и щелчком отправил в мою сторону пухлый конверт.

– Ты совершил преступление, Эрик, а за преступлением, как ты знаешь, следует наказание. Надо бы заковать тебя в кандалы, а еще лучше – попотчевать теми десятью кнутами, которые ты недосчитал. Но я пока воздержусь... и знаешь, почему? Сегодня пришел пакетбот из Гётеборга... письмо от твоего отца. Письмо тебе, но мне он написал тоже, так что и я знаю. Хочу быть первым с соболезнованиями. С твоим братом случилось несчастье. Неудачно упал с лошади... одним словом, твой брат погиб.

Ночи на Бартелеми полны странными звуками. В городе трещат пылающие факелы, из кабаков, которые, похоже, в каждом подвале, доносится шум ссор и драк. Неумолчно стрекочут неведомые насекомые – выматывающий душу, бессмысленный и зловещий пульс душной тропической ночи. Рабам запрещено покидать свои жилища после наступления темноты, но, кажется, они не особенно соблюдают этот запрет. Кто разглядит их в ночном мраке, к тому же они избегают улиц, где патрулирует ночная стража. Но и те, что остаются в своих жалких бараках, не спят. Они поют. Поют дикие, печальные песни. Ритм волнующ и прекрасен до дрожи, но лад непривычен, а слов не понимает даже Фальберг. Наверное, вспоминают родину, которую им никогда не

суждено увидеть. А мне? Суждено ли мне увидеть родину? Брат... старший брат погиб. Я стараюсь горевать, но получается плохо. Мы никогда не были близки. Пытаюсь представить его лицо, но перед глазами то и дело возникает Линнея Шарлотта, и тоска становится настолько невыносимой, что из груди невольно вырывается глухой стон.

Густавию будит пушечный выстрел на холме – ровно в пять утра. Юхан Аксель проворно вскакивает, расталкивает меня, мы наскоро умываемся и седлаем купленных накануне лошадок. Лошадки на вид так себе – тощие, унылые, но продавец заверил моего кузена: выносливей скотины не найдете. Рабы уже за работой, должно быть, их подняли еще до рассвета. Некоторые едят что-то на ходу. Мне немного стыдно за наш завтрак: свежеиспеченный хлеб, терпко пахнущая морем рыба из поставленных на ночь и только что выбранных сетей, фрукты и крепкий кофе. Рабы же едят всегда одно и то же: шведскую селедку. Удивительно: эта ржавая селедка – самый дешевый продукт на острове, хоть ее и приволокли в бочках за тридевять земель. Едят без ложек, руками – достают из калебасов¹³ разваливающиеся тушки. Вонь отвратительная; селедка, несмотря на крепчайший за-сол, заметно протухла. Вечером им дают ковш жидкой каши из смешанной с водой муки. Работа постепенно высасывает из них жизнь; питание явно несоразмерно тяжести труда.

В гавани все кипит: полным ходом разгружают прибывшие накануне суда. Мешки с бананами, табаком, бочки с ромом и питьевой водой, которой здесь, на Бартелеми, всегда не хватает – пресной воды, если не считать редких ливней,

¹³ Сосуд из бутылочной тыквы, так называемой лагенарии.

на острове нет.

Мы оставили за собой последние дома Густавии, поднялись по холму, и я впервые увидел наш остров. Город окружен частым и колючим кустарником, слишком частым и слишком колючим, чтобы через него пробиться. Есть только два или три охраняемых прохода. А за кустами, насколько хватает глаз, – рыжая, усыпанная серыми камнями земля. Никак не могу назвать пейзаж чересчур гостеприимным.

Юхан Аксель наверняка знал о выволочке, которую я получил от губернатора. Несомненное тому подтверждение: он даже не спросил, почему я решил составить ему компанию. Но, как мне показалось, кузен выжидал. Хотел, чтобы разговор этот начал именно я, а не он. Кстати, такое желание было и у меня; возникло чувство, что даже воздух между нами сделался густ и несвеж.

– Ты уже слышал?

Он молча кивнул.

– И как считаешь? Правильно я поступил?

Юхан Аксель посмотрел на меня странным взглядом. Я даже и сейчас помню этот взгляд.

– И да, и нет.

– Выкладывай...

– Эрик... все, что творится здесь, на острове, отвращает меня ничуть не меньше, чем тебя. Если б можно было повернуть время вспять, ноги бы моей здесь не было, на этом чертовом Бартелеми. Я считаю даже не дни, а часы. Жду не до-

здусь, когда же мы покинем это проклятое место. Да, ты попытался смягчить несправедливое наказание – кто тебя осудит? Но... ты же обязан думать и о последствиях! То, что ты сделал... неужели ты рассчитывал, что никто не заметит? Все заметили... и что теперь? Рабыню, которую ты пожалел, накажут еще свирепее, а на тебя все будут смотреть с подозрением. И никто и никогда не назначит тебя на место, где ты мог бы совершать подобные благодеяния... благодеяния в кавычках.

Мне стало стыдно.

– Да... ты, несомненно, прав. Но... я не мог поступить иначе...

Юхан Аксель улыбнулся и покачал головой. Подъехал совсем близко и положил мне руку на плечо.

– Тогда это был бы не ты. Потому-то я тебя и люблю.

– И что нам делать?

Мой кузен приложил большой палец к губам и начал тщательно обгрызать ноготь – он всегда тиранил этот несчастный ноготь, когда предстояло принять какое-то важное решение.

– Не знаю, Эрик. Надо выждать. Может, представится случай... Сами-то мы мало что можем.

Мы довольно долго молчали.

– Куда мы едем? – решился я спросить.

– На хлопковые плантации в самом дальнем конце острова. Ими владеет некто Тихо Сетон, швед. Странный тип,

между прочим.

– А нам-то что там делать?

– Видишь ли... все рабы на острове время от времени привлекаются на... как бы их назвать... общественные работы. Проложить дорогу, построить какой-то дом для общих нужд. Мы посмотрели донесения – Сетон в последние пару лет купил довольно много рабов, но никто из них не принимал участия в таких работах. Ни разу. Мы с тобой должны выяснить, в чем дело, и напомнить господину Сетону – посылать рабов отнюдь не его добрая воля. Это обязанность.

Остров Бартеlemi невелик – самое большее две мили¹⁴ от мыса до мыса в длину и чуть больше мили в ширину. Но ехали мы долго. Дорога, если можно так назвать кое-как выровненный скальный грунт, сначала шла через кустарник, а по мере подъема копыта наших лошадок тонули в черно-красной, похожей на доменный шлак, заметно отдающей запахом серы вулканической осыпи. Конические холмы на горизонте напоминали гигантские груды пепла с потеками черной смолы. Становилось все жарче, тонко зудели бесчисленные насекомые, высккивая каждый незащищенный дюйм кожи. Лошади шли сами – погонять бессмысленно. Они, несомненно, лучше нас знают, с какой скоростью следует передвигаться в этом выжженном солнцем краю. Прошло несколько томительных часов, прежде чем мы обогнули очередной холм. Юнас Аксель остановил лошадь и показал на несколько стро-

¹⁴ Шведская миля – 10 километров.

ений на горизонте.

– Фальберг нарисовал карту. Эта долина по-французски называется *Quartier de Cul-de-Sac*.

– Тупик? – спросил я после некоторой заминки.

Юхан Аксель кивнул, и мы двинулись дальше. Тупик... странное название.

Дом хозяина хоть и не выглядел только что построенным, но был в приличном состоянии. Чуть подальше – аккуратный ряд барачков без окон и несколько сарайчиков. Здесь, в низине, в нос ударил странный, но от того не менее отвратительный запах. Меня чуть не стошнило, но очень скоро я с удивлением обнаружил, что органы чувств в состоянии приспособиться к самым неожиданным раздражителям. Тем более ветер поменялся, и вонь заметно уменьшилась.

Пока мы приближались, человек в тени под навесом не сводил с нас глаз – наверняка его предупредил кто-то из слуг. Ничего удивительного – они не меньше получаса наблюдали за нашим медленным приближением.

Мы въехали во двор, он поднялся нам навстречу. Так я впервые увидел Тихо Сетона. Чуть ниже среднего роста, очень моложавый, никак не старше тридцати, а может, и меньше. Тщательно одет, на голове широкая треуголка. Волосы собраны в узел на затылке. Цвет определить трудно; бесцветные – вот самое подходящее определение. Правильные, даже красивые черты лица, внимательные синие, а иногда фиолетовые глаза.

Его можно было бы назвать красивым, если бы не уродливый зубчатый шрам от угла рта до скулы. Рассеченные мышцы, возможно, и старались восстановить утраченные пропорции, но их постигла очевидная неудача. Судя по всему, рана еще не зажила окончательно, в углу рта постоянно скапливалась сукровица, а в щеке остался небольшой воспаленный свищ. Морщась, Тихо Сетон то и дело брался за носовой платок. К тому же безобразный шрам словно приклеил к его лицу жутковатую кривую улыбку, и не всегда было легко отличить, когда он говорит серьезно, а когда откровенно насмеяется.

Хозяин приподнял шляпу, обратился к нам по-французски и удивленно поднял бровь, когда Юхан Аксель ответил на его родном языке.

– Шведы? Вот оно что... Добро пожаловать в Куль-де-Сак. Нечасто, нечасто достается нам удовольствие развлекать гостей. Удручающе нечасто.

Мы спешили. Слуга с широченными плечами, мускулами, как якорные цепи, и черными гнилыми зубами взял под уздцы наших лошадей.

– Луи Яррик, моя правая рука. Ничего не требует и ничего не говорит. Словно создан для доверия. *N'est ce pas, Louis*¹⁵? – Он подмигнул слуге.

Тот кивнул, наградив хозяина довольно мрачным взглядом.

¹⁵ Не так ли, Луи? (*фр.*).

Тихо Сетон пригласил нас к столу на веранде под навесом. Там уже стояло три бокала и лежал хлеб на красивом фарфоровом блюде. Предложил нам утолить жажду ромом, и, хотя сам предпочел фруктовую воду, вел он себя наиго- степриимнейшим образом. Жадно расспрашивал, что пишут шведские газеты, откуда мы родом и что привело нас на остров. При этом не забывал подливать нам ром. Мне было радостно – нашелся, кроме Юхана Аксея, еще один человек, с кем я могу говорить свободно и легко, не опасаясь за последствия. Я рассказал ему про Тре Русур, про свою семью, про наше изматывающее плавание от берегов Швеции. Тихо Сетон слушал внимательно, и даже время от времени издавал очень уместные восклицания, вроде: «неужели», «не может быть» или «подумать только», чем побуждал меня продолжать с еще большим жаром.

Голова начала кружиться от выпитого рома, и когда я в конце концов запнулся и потерял нить рассказа, хозяин улыбнулся.

– В это время дня, в самую жару, мы стараемся поспать часок-другой. К тому же вы наверняка хотите умыться после дороги. Луи вас проводит. А когда отдохнете, попрошу оказать мне честь и вместе со мной осмотреть мои владения.

Я проснулся от головной боли – виски словно железный обруч стянул. Долго не мог сообразить, где нахожусь и который час. С трудом разлепил глаза – два дивана и таз со сдоб-

ренной розовыми лепестками водой. Диван Юхана Акселя пуст.

Сполоснул лицо, привел в порядок платье. Покачиваясь, вышел во двор и обнаружил мирно беседующих Юхана Акселя и Тихо Сетона.

– Вот и вы! – воскликнул Сетон. – Камни заговорили!.. Извините, шучу. Прекрасно выглядите. Я уже боялся, что нашему юному другу будет трудно отказаться от продолжения отдыха. Но ошибся, недооценил... Остается только поздравить вас с непревзойденной конституцией. А мы как раз собрались уходить.

Он встал, заложил руки за спину и двинулся вперед. Мы, разумеется, последовали за ним. Сетон, не умолкая ни на секунду, показывал и рассказывал. Иногда, если ему казалось, что требуются особые разъяснения, останавливался и произносил целый монолог. Обогнули усадьбу, прошли вдоль ряда слепых барачков и посмотрели на хлопковые посадки. Кустики имели довольно жалкий вид. Увявшие или вовсе высохшие, почва сухая, как зола. Даже не почва, а слежавшийся песок. Сетон заметил нашу растерянность, улыбнулся и развел руками.

– С земледелием, как видите, я не слишком дружен. К тому же... думаю, даже сам великий фон Линней мало бы чего здесь добился. Дождя не было целую вечность.

Юхан Аксель прокашлялся. Ему очень не хотелось начинать этот разговор.

– Господин Сетон, а где рабы? По нашим спискам у вас должно быть не меньше двадцати трех штук. Двенадцать мужчин, восемь женщин и три ребенка.

– Они на сегодня закончили работу.

– Так рано?

– Вы же сами видите, в каком состоянии плантация. Я не хочу заставлять людей работать ради работы, без всякой пользы для дела. На сегодня они работу закончили.

Юхан повернулся к ряду барачков.

– Я должен по крайней мере пересчитать их. Поручение губернатора.

– Крайне нежелательно. – Сетон покачал головой. – Зачем беспокоить людей? У них и так почти нет времени для отдыха.

– Я вынужден настаивать.

– Настаивать? Хорошо... попрошу вас представить себя самого на месте этих людей, работающих чуть не сутки напролет под жгучим солнцем. Уверяю вас, такая работа требует куда больше усилий, чем ваша... что вы там делаете? Считаете головы? Тогда вам трудно понять... Я пытаюсь сделать жизнь этих голов сносной. Насколько возможно, разумеется.

Я с замиранием сердца следил за этой дуэлью. Первым сдался Юхан Аксель. Он отвернулся и пожал плечами.

– Как вам угодно.

Сетон улыбнулся. Несколько секунд назад во взгляде его

читалось брезгливое презрение, чуть ли не ненависть – но, к моему облегчению, опасное настроение как ветром сдуло.

Мы обогнули барак и внезапно оказались перед холмиком, на котором сплошными рядами росли усыпанные нежнейшими белыми и алыми бутонами невысокие кусты.

Сетон развел руками, склонил голову набок и улыбнулся.

– Мое главное земледельческое достижение. Франжипани... *Plumeria obtusa*. Гордость усадьбы.

И в самом деле – в полупустынном, раскаленном ландшафте зрелище столь же прекрасное, сколь экзотическое. Но наслаждение небывалой красотой цветов было недолгим: подул ветер, и в ноздри ударил тот же отвратительный, тошнотворный запах.

Сетон немедленно достал носовой платок и зажал нос.

– Водоросли, – смущенно пояснил он. – Гниют. Проклятие всех, у кого плантации близко к берегу. Природа распорядилась нести всякую дрянь не куда-нибудь подальше, а именно к берегу Сен-Бартелеми.

Он повернулся спиной к ветру.

– Ближе к вечеру цветы распускаются полностью. Волшебный аромат... даже береговая гниль пасует. Ночью вонь почти незаметна, даже если ветер с моря. И как вы думаете, почему я это говорю? Да потому, что возвращаться вам уже поздно. Думаю, вы уже и сами знаете – ночь здесь падает мгновенно, будто черный полог набросили. Несколько минут – и готово. Тьма египетская. Приглашаю господ отужинать.

В этой глуши для меня любое общество – дар Божий.

На ужин подали суп и поджаренных на углях голубей с неизвестными сладковатыми корнеплодами – пожалуй, ничего вкуснее за все время пребывания на острове я не ел. Хотя, конечно, никакого сравнения с тем, что мы ели на родине, в Швеции. И вино оказалось отменным. У Сетона был довольно большой винный погреб: он прекрасно понимал, как выигрывает даже самое простое блюдо с правильно подобранным вином. Столовая богато и весьма экзотически обставлена. Хрустальная люстра с призматическими подвесками отбрасывала на стены волшебные цветные блики, на стенах, на расстоянии локтя друг от друга, – изящные бра. Штофные обои на стенах – очевидно, французские, причем еще дореволюционные, с королевскими лилиями. Турецкий ковер. После нескольких бокалов разве что легионы слетавшихся к огню странных насекомых напоминали, что мы не дома, а на другом краю земли.

Беседовали в основном мы с Сетоном, Юхан Аксель больше помалкивал. Собственно, и беседа-то была банальной: урожай морской соли в соляных запрудах, необходимость строить как можно больше цистерн для сбора дождевой воды, убийственное влияние событий во Франции на торговлю. Сетон часто со мной соглашался, но в ответ выкладывал целую цепочку аргументированных соображений. Я старал-

ся не отставать, но ясно чувствовал: для беседы на равных у меня не хватает ни знаний, ни опыта. К тому же вино и усталость делали свое дело.

Юхан Аксель проводил меня в постель, и правильно сделал – проснулся я свежим и отдохнувшим. Было еще темно. Я повертелся, попробовал опять заснуть, но вскоре оставил эти попытки. Решил прогуляться и заодно проверить, в самом ли деле цветы Сетона распространяют по ночам такой уж волшебный, как он сказал, аромат. *Франжипани...*

Вышел во двор и поднял голову. Бархатно-черное небо усеяно серебряными гвоздиками звезд, собранных, как я уже и раньше замечал, в совершенно иные, незнакомые конфигурации. Месяц в белесом нимбе уже почти скрылся за горизонтом, но все же было достаточно светло, чтобы видеть, куда ставишь ногу. Я двинулся в показавшемся мне верным направлении, но, конечно, ошибся и быстро это понял: наткнулся на бараки, где Сетон держал своих рабов. Тяжелая калитка закрыта на кованый засов с массивным, величиной с ладонь, висячим замком. Только теперь я сообразил, где нахожусь, и легко нашел цветочную плантацию. Хозяин не преувеличил: в воздухе стоял густой, сладкий, даже приторный, но тем не менее приятный и волнующий аромат. Днем бутоны были разные: красные, лиловатые, почти белые. Но сейчас цветы распустились, и в призрачном свете ущербного месяца казались совершенно одинаковыми, серо-жемчужными. Они тянулись к ночному небу, как ладони случайных

паломников, забредших в Элизиум в сопровождении шеле-
стящей бессловесной молитвы хора ночных бабочек.

По пути назад я заметил то разгорающийся, то гаснущий
огонек. Подошел поближе – оказывается, Сетону тоже не
спится. Он вышел покурить свою трубку, и при каждой за-
тяжке на изуродованном лице его вспыхивал адский багров-
вый отсвет. Он улыбнулся, но улыбка из-за шрама и стран-
ного освещения вышла такой жуткой, что я вздрогнул.

– Ну и как?

– Как вы и сказали. Замечательный, я бы сказал, редкост-
ный аромат.

– Вы может называть меня Тихо. Позвольте угостить та-
баком?

Я покачал головой. Курить я еще не научился.

– Тогда посидите со мной. – Он пожал плечами и сделал
приглашающий жест. – Ночные часы... лучшее время суток.
И уж безусловно лучшее из всего, что может предложить
этот треклятый остров.

Я присел, и между нами завязалась беседа. У него было
много вопросов – про Тре Русур, про мою семью. Он задавал
их с таким тактом, так легко и непринужденно, что говорить
мне с ним было легче, чем даже с моим кузенком. Во всяком
случае, о смерти брата я рассказал ему первому.

– Мои соболезнования. Ваш единственный брат?

– Да. Единственный.

– Знаете, мне тоже довелось пережить потерю семьи, хотя

я-то был единственным ребенком. Никаких братьев и сестер у меня не было... но были отец и мать, которых я не помню. Отец погиб, мать ушла в монастырь, и жил я у дяди, брата покойного отца. Он воспитал меня и дал образование.

Мы еще немного поговорили о странных прихотях земного существования, и как-то само собой я поведал ему историю с Линнеей, которая, собственно, и послужила причиной моего изгнания на остров Бартелеми. Он начал расспрашивать и про нее. Удивительно – этот человек оказался единственным, кто понимал мои чувства и принимал их всерьез. Во всяком случае, он не дал ни малейшего повода заподозрить, что история моей любви кажется ему юношеской блажью.

Дослушав, он некоторое время сидел молча, закрыв глаза и слегка покачивая головой.

– Вы, должно быть, полагаете, что несчастней вас и человека нет на земле, – сказал он тихо. – Но подумайте вот о чем: полно людей, которым за всю жизнь не довелось испытать это прекрасное чувство – любовь. Знаете, мы с вами очень похожи – вы и я. И вы наверняка удивитесь, когда узнаете о причине моего побега с континента – настолько моя судьба похожа на вашу. Меня, так же как и вас, никто не хотел понять...

Он замолчал и аккуратно положил трубку на подлокотник стула.

– Наш просвещенный век называют эпохой логики и ра-

зума... но никому и в голову не приходит, что миром управляют силы, далеко превосходящие всякий разум и всякую логику. Люди этого просто не понимают, а раз не понимают, встречаются в штыки – в меру своей духовной ограниченности. Встречают в штыки все, что не укладывается в придуманные ими рамки. Оттолкнуть, разумеется, легче, чем попытаться понять. Но знаете ли... не они нам, а мы им должны сочувствовать, этим несчастным, обездоленным созданиям, которые ни разу в жизни не испытали настоящего чувства. Но никуда не денешься: они управляют миром. Управляют миром в меру своего бесчувствия... и результаты налицо. Человек создан свободным, а куда ни глянь – оковы, оковы и опять оковы.

Никогда, ни до, ни после, не слышал я таких слов из уст – кого бы вы подумали? Рабовладельца! Я не нашелся что сказать. Очевидно, молчание мое выдало недоумение и скепсис. Никого поблизости не было, все спали, но Тихо Сетон огляделся, будто нас подслушивают.

– Я не тот, за кого вы меня принимаете, Эрик. Запомните это. Не тот. Надеюсь, придет время, я смогу объясниться, а пока вам придется поверить мне на слово.

Он надолго задумался, потом повел плечами, будто старался отогнать неприятное воспоминание.

– Сколько вам лет, Эрик?

– В декабре будет пятнадцать.

– Что ж... время идет быстро. Скоро вы сами будете хо-

зьяном своей судьбы. И вот еще что... как вам у нас? Здесь, на острове?

Вопрос поставил меня в тупик. С одной стороны, он сам задал беседе искреннюю и доверительную тональность, а с другой – я боялся нечаянно задеть его чувства. Ведь мы совершенно не знакомы.

– Иногда мне кажется... – произнес я осторожно и задумался, выбирая подходящие слова. – Иногда кажется... Бог отвернулся от Бартелеми.

Сетон опять взял трубку, но она успела погаснуть. Он начал ее раскуривать, и когда над нами поплыло большое, меняющее форму облако дыма, неожиданно спросил:

– А вы верующий?

Я торопливо кивнул, и вдруг меня начали одолевать сомнения. Никто и никогда не задавал мне подобных вопросов. Вопрос, намекающий на возможность выбора, о существовании которого я даже не подозревал.

Он сделал еще несколько неторопливых затяжек.

– Сам-то я... что вам сказать... Не так-то легко верить в Бога, который, как только представляется случай, помогает угнетателям и тиранам, а справедливым и честным ставит палки в колеса.

Я вспомнил книгу из библиотеки матери. Ее написал некий француз, одно имя которого заставляло отца хмыкать, будто кто-то осмелился помянуть при нем имя дьявола. И возразил:

– Разве Бог отвечает за все несправедливости? Это мы, люди, забыли, откуда мы родом. Построили мир, где вовсе не обязательно соблюдать Его заповеди.

– Каждому по его вере... но общество-то прогнило насквозь. Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит.

Он наклонился ко мне совсем близко и почти прошептал:

– А может, никакие заповеди и не нужны? Кроме тех, что продиктованы самой природой? Представьте, сколько добра могли бы сделать такие люди, как вы и я... разве это не истинная свобода, Эрик?

И тут же откинулся назад, словно испугался услышать не тот ответ, что ожидал. Выпустил облако дыма, проследил, как оно растворилось в ночном мраке. Из свища на щеке тоже выползла тонкая струйка дыма, заколебалась, словно не знала, куда податься, и мгновенно растаяла.

– Может, истина в том и состоит: делай, что считаешь нужным. Вот вам и весь закон Божий.

Я сидел слева, как раз со стороны его ужасного шрама, и не мог определить, серьезен он или насмехается. Его улыбка напоминала гримасу человека, только что нюхнувшего крепкого табаку. Тихо Сетон заметил мое недоумение и рассмеялся.

– Прошу прощения. У меня своеобразное чувство юмора, многие жалуются. И то, что я осмелился выказать его на столь ранней стадии, свидетельствует только об одном: даже после короткого знакомства я испытываю к вам безгранич-

ное доверие.

Он выбил трубку о каблук, поднялся и пожелал мне доброй ночи.

– Вернее, доброго остатка, – поправился он и снова засмеялся. – Знаю, что в Густавии немало злых языков. И вы представить себе не можете, насколько радует меня ваше понимание. Надеюсь, вы не станете, наслушавшись сплетников, думать обо мне плохо?

Я неуверенно кивнул – что на это ответишь? Но он, словно не заметив моего замешательства, просиял и положил мне руку на плечо.

– Все, что я знаю о вашем отце, я знаю из ваших же рассказов, но... простите меня, человек, который отсылает сына в Богом забытое место... или, как вы выразились, в место, к которому Бог повернулся спиной... такой человек мало чем отличается от сумасшедшего. И знайте – вы всегда желанный гость в Куль-де-Сак. Нужда заставит или подвернется случай – помните: желанный гость. Я попрошу Яррика всегда содержать вашу спальню наготове, и мое высшее желание – чтобы вы чувствовали себя здесь, как дома. Буду польщен. Спокойной ночи.

Поутру, когда Юхан Аксель меня растолкал, появилось чувство, что мы спали куда дольше, чем следовало. Тем не менее Сетон уже ждал нас на веранде за накрытым столом. Дымящийся кофейник, хлеб и конечно же селедка, нежнейшая селедка в каком-то незнакомом мне соусе.

– Крабы, – сказал Сетон, заметив мое недоумение. – Соус из крабов.

Он допил кофе, достал из кармана кошель и начал выкладывать на стол деньги.

– Я попытался оценить сумму, которую я задолжал Коро-не по причине отсутствия моих рабов на общих работах. Не угодно ли господину Шильдту удостовериться... вернее, не угодно ли господину Шильдту проверить, верна ли моя калькуляция? Вот и счета к вашим услугам. – Он пододвинул Юхану Акселю деревянную рамку с нанизанными на металлические прутки костяшками и испещренный цифрами лист бумаги.

Юхан Аксель не стал пользоваться счетами. Он поводит пальцем по рядам цифр и пожал плечами.

– Расчеты выглядят корректно, но сумма почему-то больше истинной.

– Да... я взял на себя смелость предположить, что губернатор Багге примет избыток как компенсацию за возможные

неудобства, которые я доставил администрации. Или, если угодно, как задаток за будущие неудобства подобного рода.

Юхан Аксель нахмурился.

– Я не уверен, что губернатор согласен решать подобные вопросы таким необычным способом.

Сетон весело посмотрел на моего кузена и улыбнулся. Впервые я заметил, как в его повадке проскользнула тень превосходства взрослого, много повидавшего человека над неопытными мальчишками.

– Если на вашем жизненном пути встречались исключительно люди, отвергающие предложенные без всяких требований взаимных услуг деньги... что ж, значит, вам посчастливилось жить среди ангелов. Но я предлагаю дождаться, что скажет сам губернатор. Вам надо только передать деньги его превосходительству Карлу Фредрику Багге. Деньги и письмо. И, конечно, расписаться в получении означенной суммы.

Он протянул Юхану Акселю тщательно очиненное перо какой-то экзотической птицы и изящную чернильницу. Юхан Аксель еще раз пробежал глазами калькуляцию и подписал.

Во дворе уже дожидался Яррик, держа под уздцы наших вымытых и вычищенных до жаркого блеска лошадей. Сетон помахал нам с веранды, и мы двинулись в путь. Солнце палило немилосердно. Довольно долго мы молчали. Кузен ехал чуть впереди, и настроение его угадать было нетрудно: плечи опущены, взгляд устремлен вниз. Поэтому первым прервал

молчание я.

– Что тебя гнетет, Юхан?

Он придержал лошадь, и мы поравнялись.

– В усадьбе нет ни одного раба. Хотя по бумагам их должно быть не меньше двадцати. Хлопковую плантацию ты видел сам. Нигде нет и следа каких-то работ. Ты пошел спать, а я еще успел поговорить с Тихо Сетоном. Он долго расспрашивал, что я думаю о том, о сем... к примеру, о делах шведской Короны на острове Бартелеми. И в конце концов дал разъяснение.

– И какое же? Разъяснение, я имею в виду?

Юхан Аксель методично обгрыз траурную кайму на ногте большого пальца, выплюнул в канаву и некоторое время полировал оставшийся ноготь, потирая его о зубы, – укоренившаяся и довольно неприятная привычка.

– Какое разъяснение... мне очень хотелось бы верить. Разъяснение вот какое: он испытывает ничуть не меньшее отвращение к порядкам на Бартелеми, что и мы с тобой.

– Мне он говорил то же самое, – кивнул я с энтузиазмом. – Я тоже успел побеседовать с ним наедине.

Юхан Аксель нахмурился.

– Когда ты успел с ним поговорить?

– Ночью... Я вышел проверить, в самом ли деле его хваленые цветы такие мастера пахнуть. А он сидел на веранде с трубкой. Судя по всему, еще не ложился.

– Эрик... я не хочу, чтобы ты встречался с ним наедине.

По крайней мере пока я не выясню, что скрывается за его прекраснодушием. Обещаешь?

Я с трудом скрыл раздражение.

– Ты считаешь меня несмышленным младенцем? Ты то же?

Юхан Аксель посмотрел на меня так озабоченно, будто я и в самом деле не имел права что-либо решать.

– Ты еще не повзрослел, Эрик. Ты так легковверен... тебе хочется обо всех думать хорошо, даже о тех, кто этого не заслуживает. И тут нечего стесняться, наоборот. Но ты показываешь свои чувства открыто, и это делает тебя ранимым. Грубо говоря, легкой добычей. Я не собираюсь от тебя ничего скрывать, но сначала должен выяснить, как и что. И пока я не уверюсь, что все в порядке, умоляю тебя: держись подальше от Куль-де-Сак!

Возможно, из-за жары, возможно, из-за жажды, но раздражение мгновенно переросло в гнев. Сетон говорил со мной, как с равным, – первый человек на Бартелеми.

– Ну да, – прошипел я, – малыш Эрик Тре Русур не может позаботиться о себе сам. Он всего-то туповатый кузен Шильдта, никому не нужен и только путается под ногами. К тому же все только и думают, как бы его надуть, провести и использовать в своих целях. Но знай, Юхан, – мы знаем других не лучше и не хуже, чем самих себя.

– Что ты имеешь в виду, Эрик? – сдержанно спросил Юхан Аксель. Глаза его потемнели.

– Ты прекрасно понимаешь. Отец оплатил твое путеше-

ствие, чтобы ты за мной шпионил, читал мои письма – все для моей же пользы, разумеется. Но мне не нужна нянька. Отныне я выбираю друзей сам!

Я сказал это в запальчивости, вскоре и сам пожалел. Но в тот момент кровь во мне кипела, как вода в чайнике, и я пришпорил лошадь. Она всхрапнула от удивления, сделала попытку оглянуться, но послушно перешла на рысь. Моя лошадка была помоложе и порезвее, и Юхан Аксель догнать меня не мог, даже если бы и захотел.

Наверное, я свернул где-то не там, ошибся на одном из немногочисленных перекрестков. К счастью, дорог на острове мало, окончательно заблудиться невозможно, поэтому я все же доехал до Густавии, хотя и с опозданием на пару часов. Отвел лошадь в конюшню, передал конюху и пошел к Дэвису. Уже наступил вечер, но Юхана Акселя не было ни в кабаке, ни в нашем номере. Сэмюель Фальберг помахал мне рукой: видимо, понял, насколько мне одиноко, и пригласил за свой столик, чему я обрадовался несказанно.

– Весь день не видел ни вас, ни юного Шильдта, – сказал он, не успел я присесть. – Где вы пропадали?

Я коротко поведал ему о нашем поручении.

– Вот оно что... Тихо Сетон... я с ним лично не знаком, но все равно помню... он был здесь, в Густавии, хоть и очень коротко. Пока не купил землю на другом берегу острова. Моего коллегу несколько раз вызывали во все публичные дома Густавии – так немилосердно Сетон издевался над жрицами

любви. Очень быстро стал *персона нон грата*. И как он вам показался?

Я вспомнил: Сетон предупреждал меня о слухах, которые распространяют о нем злые языки.

– Отменный, радушный хозяин. Мы замечательно побеседовали. Думаю, всем заметно, как мне трудно найти свое место здесь, на острове... но он один отнесся к этому с пониманием.

Фальберг задумчиво смерил меня взглядом, видно, оценивая мои слова, и сменил тему разговора.

– Эрик... хочу поделиться с вами. Я обнаружил на острове... Вы ведь знаете про мои естествоиспытательские наклонности? Так вот, я обнаружил на острове удивительное создание. Представьте себя... на первый взгляд непомерных размеров паук. При ближайшем рассмотрении я установил, что это... создание относится скорее к отряду скорпионов. Тоже, конечно, паукообразные, но отдельный отряд. Удивительно, да? Со временем я понял причину ребуса. У него нет ни хвоста, ни ядовитого жала... но он питается другими пауками. Те неосторожно принимают его за своего и подпускают слишком близко. А когда осознают ошибку, уже поздно. Он бьет наверняка, без всякого риска неудачи.

Фальберг поставил локти на стол, опер голову на руки и внимательно на меня посмотрел.

– Вы понимаете, что я хочу вам сказать, Эрик?

Я не понял, но на всякий случай кивнул. Вскоре мы по-

желали друг другу доброй ночи.

Я надеялся, что Юхан Аксель уже вернулся. Тогда я мог бы если и не взять назад свои слова, то как-то объясниться. Но, к моему удивлению, ошибся. Номер был пуст. Я огляделся и понял, что кое-какие из вещей Юхана исчезли. Хотя он и постарался взять их незаметно. Видно, обиделся и решил переночевать где-то еще.

Я на всякий случай проверил и свои вещи и похолодел: ящичек, в котором лежал подаренный отцом пистолет, был пуст.

На следующее утро я отправился к губернатору – разузнать, куда делся Юхан Аксель. Секретарь не хотел меня пускать. Я начал лихорадочно обдумывать следующий шаг, но через несколько минут на пороге появился сам Багге.

– А-а-а... Тре Русур. У него есть чувство юмора, у твоего кузена. Никогда бы не подумал. Где он болтается? У меня тут срочные счета, они ждать не могут.

Я пролепетал, что ничего про кузена не знаю, и, собственно, пришел задать ему тот же самый вопрос. Багге раздраженно потер жирную шею, отгоняя предвкушающих праздничный завтрак комаров.

– Вчера он во что бы то ни стало хотел вернуться в Кульде-Сак. Еще чего! Что до меня, вопрос решен. Здесь есть дела поважнее, они не могут ждать, пока он разберется со своими химерами. Я дал ему знатную выволочку. Еще чего! – повторил он с еще бóльшим нажимом. – Клерки будут учить меня, что и когда мне предпринять! Но знайте, Тре Русур: я проучил его только потому, что у меня на Шильдта большие... бо-ольшие виды. Оч-чень большие! В отличие от вас, уж извините за откровенность.

Мне показалось, что губернатор и сам несколько смущен горячностью, с которой он высказал свои нелестные для меня соображения, но тут же понял: он совершенно пьян.

– Ну и ладно, – Багге сменил тему. – Как вам пришелся Тихо Сетон? Шильдт поделился со мной своими подозрениями... что до меня, так и Бог бы с ним, этот тип расплатился полностью и даже с лихвой. Мало того – дал разумные объяснения.

Я попытался что-то сказать, но он отмахнулся.

– Все равно. Увидите кузена, скажите: всё. Мы подвели черту под этой историей. Скажите, если я ущемил его гордость, назвав содомитом, пусть не обижается. Многие спрашивают: с чего бы он так заботится о своем кузене, который вовсе такой заботы не заслуживает? Уж не завелись ли у него шашни с этим недотепой? Я имею в виду вас. Вас, Тре Русур, кого же еще... Я был... как бы сказать... не совсем трезв. Десертное вино, знаете ли, легко выводит из баланса... так что пусть в дальнейшем воздержится вступать со мной в споры в это время суток. Идите, Тре Русур, идите, не путайтесь под ногами.

Он махнул рукой и ушел. Я по-прежнему ничего не понимал.

Кое-что удалось выяснить в конюшне. Оказывается, Юхан Аксель взял лошадь и уехал. Толстый конюх поковырял в носу, с интересом изучил улов и добавил:

– И еще это... лопату взял.

Я не понимал, в чем Юхан Аксель подозревает Сетона, и что совсем уж удивительно – как он решился на эту поездку.

ку без разрешения губернатора. Что-то тут не складывалось. Еще и этот пистолет... Что ж, кузен мой юноша неглупый и вполне может сам о себе позаботиться. Кстати, Сетон произвел на меня впечатление человека, наделенного теми же похвальными качествами. Так что самый естественный исход – обсудят с глазу на глаз и установят причины взаимонепонимания. Так оно и будет. Надо просто дождаться возвращения Юхана Акселя.

Вскоре выяснилось несколько удивившее меня обстоятельство: в отсутствие двоюродного брата мне совершенно нечем заняться. Никто меня не искал, не интересовался, где я и что делаю, так что я мог распоряжаться временем по своему усмотрению. Пошел к океану. Решил прогуляться вдоль берега, но вскоре путь мне преградили густые низкие заросли, спускавшиеся к самой линии прибоя. Пошел в другую сторону. Там были вырыты неглубокие котлованы – в этих бассейнах приливная вода испарялась и превращалась в драгоценный товар: соль. Рабы время от времени сгребали ее граблями в большие серые сугробы. Я почему-то вспомнил про найденный мною по приезду странный камень, и почти час посвятил поиску подобных камней. В результате набрал полную горсть, но природа их по-прежнему оставалась загадкой. Ноздреватые, как пемза, пористые, не очень тяжелые камушки со странными зазубринами. Некоторые гнутые, другие удлиненные или неопределенной формы, будто

отколоты от чего-то.

В конце концов геологические изыскания мне надоели, и я пошел бродить по улицам Густавии, как всегда, весьма оживленным. В гавани выстроились баркасы, ждущие очереди на разгрузку. Прибыл очередной корабль с живым товаром. Рабов вели по улицам в ржавых цепях, и прохожие зажимали носы от нестерпимой вони. Впрочем, поблизости стояли ряды бочек с водой, где несчастных отскребали от многомесячной коросты грязи, а оттуда вели в бараки, где они ожидали очередных торгов. Многие выказывали признаки помешательства после долгого морского путешествия: дико сверкающие глаза, нечленораздельные выкрики, пена в углах рта. Удивительно: как работорговцам удается большую часть довести живыми; как они все не умирают в таких нечеловеческих условиях?

Мало того – торговцы старались избежать ненужных потерь. Они то и дело приглашали Фальберга. Я подошел, попросил не отказать мне в обществе, и некоторое время шел за ним по пятам. Фальберг шел вдоль рядов изможденных и понурых негров и коротко констатировал:

– Скорбут. Скорбут. Тропическая лихорадка. Изолировать. Скорбут...

Он, кажется, не тяготился моим обществом; наоборот. Возможно, я отвлекал его от мрачных мыслей. Ничего удивительного: а какие еще мысли неизбежно одолели бы каждого, кто надумал совершить подобный обход?

– Что ж... все, что мы видим, результат условий на кораблях, но корабль есть корабль, не в наших силах управлять стихиями. Но здесь, на острове, тоже приходится сталкиваться с необычными заболеваниями... и это вызывает озабоченность... – Он неожиданно устроил странную гримасу: оскалился и несколько раз подмигнул. Я даже не сразу сообразил: оказывается, таким странным способом он просит стоящего перед ним раба показать зубы. – Например, тяжелые случаи дисфории. Да... дисфория. Вряд ли вам знаком этот термин... Своего рода одержимость воспоминаниями о родине, а именно тоска, непреодолимая тоска, и тоска эта сплошь и рядом имеет соматические последствия. Поверхностное дыхание, знаете ли, брадикардия... извините, замедление пульса. Они отказываются от еды и даже от питья. И в запущенных случаях эта болезнь, представьте, смертельна.

– И нет никакого способа лечения?

Фальберг перешел к следующему узнику, одарив меня многозначительным взглядом. Осмотрев раба, повернулся ко мне и пожал плечами.

– Конечно, есть. Способ лечения очевиден.

На том мы и расстались.

По пути в номер я прошел мимо барачков. И хотя старался смотреть под ноги, чтобы избежать неприятных сцен, мое внимание привлек совсем молодой раб в скованной цепью группе, очевидно, ожидающей очередного морского путеше-

ствия на одну из сахарных плантаций на Антильских островах. Совершенно голый, он дико размахивал руками, но был не в состоянии издать ни одного членораздельного звука – мешала стальная узда, удерживающая челюсти в полуоткрытом состоянии.

Я уже привык – кожа рабов может иметь самые разные оттенки. От светло-шоколадного до черного, как сапожная вакса. Но никогда доселе не видел такой странной кожи, как у этого. Все тело в пятнах, как будто он перенес какую-то болезнь: представлены все оттенки, о которых я упомянул. Волос нет нигде, в том числе и на голове, где видны свежие царапины от бритвы. Лицо настолько черное, что даже многочисленные синяки кажутся на этом фоне светлыми. Неправдоподобно яркие белки больших, необычно светлых глаз. Он рыдал, всхлипывал и протягивал руки к прохожим, взывая о милости. Едва я успел подумать, что передо мной наверняка типичный случай неутолимой тоски по дому, *дисфории*, как назвал ее Фальберг, как между нами встал здоровенный англичанин и стеком ударил парня по причинному месту. Раб упал как подкошенный и скорчился на земле.

– Дай ему шанс, порвет на куски, – процедил англичанин. – Он мне достался почти даром, но я все равно чувствую себя обманутым. Держитесь от него подальше.

Я поспешил домой, но еще долго в ушах стояли тоскливые всхлипывания несчастного.

Писать по ночам очень трудно и страшно, но и время летит быстрее. Сегодня обратил внимание, как чередуются времена года. Зима давно забыта, прошла весна, да и лето скоро кончится. Не далее как сегодня вдруг стал мерзнуть, почувствовал запах мокрых листьев и только тогда обратил внимание, что окно в моей палате открыто настежь.

Первое, пока еще робкое, дыхание осени.

Все это не имеет значения. Дни, спасибо тебаике, я провожу в полудреме, светлые часы похожи на сон, который память отказывается сохранять. Мне приносят воду, пускают кровь, переворачивают в постели. Только с наступлением темноты я возвращаюсь в сознание, только в эти страшные часы между сумерками и рассветом никто не руководит моим бытием. Я сижу с гусиным пером в руке и не могу дождаться, когда же начнет светать.

А сегодня днем я очнулся и обнаружил у себя двоих посетителей. Судя по всему, они находились в моей палате уже довольно долго. Терпеливо ждали, пока я найду в себе силы отвечать на их вопросы. А вот что я им ответил и ответил ли вообще – не помню. Но лица запомнил. Один огромный, как шкаф, с жуткой, изуродованной зажившими шрамами физиономией – вылитый кулачный боец. А другой... другой –

прямая противоположность. Более разных людей и представить трудно. Тощий, бледный, говорит так тихо, что приходится вслушиваться. Я сделал все что мог, чтобы унырнуть от незваных гостей в сладкий омут опиумного сна, но, очевидно, проворства моего не хватило, и я постепенно догадался, что им надо. Эти двое представляли правосудие. Должно быть, они долго меня разыскивали. На то оно и правосудие – любое преступление должно быть наказано. Где-то в глубине души шевельнулась мысль – броситься им в ноги и рассказать всю правду, но воля моя настолько ослабла от страхов и медикаментов, что я не решился на такой отчаянный поступок. Хотя признание, несомненно, принесло бы облегчение. Я им даже что-то сказал, они не поверили... говорили и говорили. Я многое понял, хотя мое понимание наверняка осталось для них незамеченным.

Странные посетители задавали вопросы все более прямо и нетерпеливо, пока до них не сразу, но все же дошла безнадежность их затеи. У здоровяка испортилось настроение. Он даже хряснул кулаком по косяку двери. Я вздрогнул от странного звука – дерево об дерево, и тут же понял: у него вместо левой руки – протез. Не знаю, как его звали, но имя второго, бледного, запомнил, потому что однорукий постоянно обращался к нему за помощью.

Винге.

Что ж... вполне возможно, их визит означает для меня начало конца. Мое время отмерено. И я должен спешить. Я

должен успеть поведать всю историю, пока судьба не призвала меня в менее гостеприимные места.

Ожидание становилось невыносимым. Я и сейчас не могу вообразить, где, в каком месте человек может сильнее чувствовать одиночество, чем в бурлящем лабиринте улиц Густавии, в этом водовороте матросов, рабов и прочего сброда. Проснулся очень рано, заплатил конюху задаток. Он встретил меня, как старого знакомого, даже назвал по имени – и я пустился в путь. В третий раз я ехал по дороге в Куль-де-Сак. Туда, обратно и теперь опять туда. Единственный раз мне пришлось остановиться на развилке и поразмышлять – и надо же, в эту самую минуту из-за холма появился не кто иной, как Яррик, управляющий у Сетона. Он подъехал и поздоровался – с некоторым, как мне показалось, удивлением.

Пока мы гостили у Тихо Сетона, я ни разу не оставался с Ярриком наедине, но, как и тогда, он не показался мне особо общительным. Молча вывел на правильную дорогу, и последнюю четверть мили мы ехали бок о бок. Судя по мученической гримасе и по тому, как часто Яррик прикладывался к фляжке с водой, он, несомненно, был с похмелья. На чудовищном французском объяснил – ездил по поручению хозяина в Густавию передать товар. Сообщив эту новость, он внезапно рассмеялся – я не понял, чему именно, думаю, мало бы кто понял, но на всякий случай улыбнулся, что окончательно привело его в хорошее настроение. Его лошадь была

куда резвее. Он показал мне ладонью дорогу – прямо, прямо, потом направо, налево, а дальше опять прямо, выразил уверенность, что я не заблужусь, и пришпорил коня.

Еще издалека я увидел Тихо Сетона. Он сидел на веранде с бокалом в руке. Заметив меня, поставил бокал и пошел навстречу – поприветствовал, как и тогда, вежливо и красноречиво, но я сразу заметил: чем-то он озабочен. Чем именно – попытался угадать, но не смог.

– Следуйте за мной, Эрик. Нам есть о чем поговорить.

К моему удивлению, он подвел меня к ряду лишенных окон барачков. Калитка и двери открыты настежь, железный засов и огромный замок валяются на земле. Тихо Сетон пригласил меня зайти. Я помедлил, с ужасом вспомнив картину, открывшуюся передо мной в трюме шхуны капитана Джонса. Но как только глаза мои немного попривыкли к темноте, понял: опасения напрасны. Бараки пусты. Я с удивлением посмотрел на хозяина.

– Надо же назвать причину, по которой я отказался показать рабов вашему кузену, – серьезно произнес Сетон. – Причина вот в чем: у меня рабов нет. Все они – свободные люди. Сама мысль – содержать людей в рабстве – вызывает у меня отвращение и протест. И не только у меня. Есть и единомышленники. С одним из них, английским капитаном, я разработал план. Я покупаю рабов в Густавии, временно помещаю их в усадьбе и дожидаясь его визита. Здесь, на во-

сточном берегу, он знает каждую мель, каждый риф, каждое коварное течение. С более или менее равными промежутками бросает якорь, посылает шлюпки, грузит людей и держит курс на Эспаньолу. Там они оказываются среди восставших братьев по расе и помогают бороться за создание собственного государства, свободного от рабства и угнетения.

Мы вышли во двор. Сетон, прикрыв ладонью глаза от палящего солнца, посмотрел на океан. Я молчал, не зная, что сказать.

Наконец он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза.

– Три дня назад приехал Шильдт. Он напрямую потребовал разъяснений. Что ж... я знал, что он один из приближенных губернатора Багге, но мне ничего не оставалось, как открыть карты. Я, знаете ли, совершенно лишен таланта придумывать оправдания и отговорки. Да если бы даже и имел такой талант, вряд ли мне удалось бы провести вашего кузена. Весьма, весьма проницательный юноша. Так что я выложил все как есть – короче говоря, обнажил шею и надеялся на понимание. Представьте, Эрик, – я был целиком в его власти, но он меня понял! Клянусь – он меня понял! И поддержал, причем от всего сердца. Оказывается, он ненавидит рабство не меньше меня, и, не сомневаясь ни секунды, предложил свою помощь.

– Но где же он? Почему я его не вижу?

– Он на корабле по пути на Эспаньолу. Ваш кузен – весьма одаренный молодой человек. Мы долго искали настояще-

го борца, человека, который мог бы возглавить наше дело на взбунтовавшемся острове. Его искреннюю помощь вряд ли можно переоценить. Вчера, в час прилива, они подняли якоря.

Сетон выждал немного, пока я переварю оглушительную новость, и позвал Яррика.

– Шильдт оставил письмо. – Он протянул мне сложенный вчетверо лист с печатью моего кузена.

Я сломал сургучную нашлепку. Письмо очень короткое, но почерк, несомненно, Юхана Акселя. Две-три фразы прощания и подпись.

– Он, несомненно, написал бы побольше, но уже начинался отлив и надо было спешить, – Сетон широко развел руки. – Теперь все на ваше усмотрение. Наша судьба в ваших руках, Эрик.

– Что вы имеете в виду?

– Вы знаете все мои секреты. Вы и ваш кузен. Я не могу помешать вам вернуться в Густавию и все рассказать губернатору Багге. Он наверняка щедро наградит вас за лояльность. Что ж... жду приговора.

Он, к моему немалому удивлению и еще большему смущению, упал передо мной на колени. Я не успел сказать ни слова, но он истолковал мое молчание.

Истолковал правильно.

– Нам очень понадобится ваша помощь. Мне и Шильдту. И улыбнулся своей уродливой улыбкой, которая на этот

раз вовсе не показалась мне такой уж жуткой.

Я оставался в Куль-де-Сак довольно долго. Собрался в обратный путь, когда уже солнце стояло совсем низко, на землю ложились длинные вечерние тени, а когда подъехал к Гу-ставии, уже начали зажигать фонари. Тем не менее поединок выиграл – успел до темноты. Трудно представить, как бы я искал дорогу в тропическом мраке. В постели несколько раз перечитал записку Юхана Аксея. Думаю, разлука огорчила его не меньше, чем меня, – на бумаге остались следы слез.

Я передал губернатору Багге извинения Юхана Акселя. Рассказал историю, которую мы с Тихо Сетоном придумали в Куль-де-Сак. Якобы Юхан Аксель никак не мог прийти в себя после губернаторской выволочки и сел на первую попавшуюся шхуну в Гавр.

Багге сплюнул в траву, побагровел и удостоил меня презрительного взгляда выпученных глаз.

– Какого черта, Тре Русур! Мне присылают двух юнцов, один тупой, другой вроде бы поумнее, и на тебе! Как раз тот, который получше, оказывается полным ничтожеством. Чтоб вам всем провалиться! Исчезните с глаз моих, Тре Русур!

Шли недели. Время от времени я приезжал в Куль-де-Сак – а вдруг Юхан Аксель вернулся с Эспаньолы и уже дожидается меня. Конечно же о нелепой размолвке никто из нас и не вспомнит. Но нет – за все время от него пришло несколько писем, очень коротких, красноречиво свидетельствующих о его немалой занятости. Но настроение, судя по письмам, вполне бодрое, а главное, конечно – уверенность в правильности сделанного шага.

К сожалению, оптимистичные эпистолы Юхана Акселя были не единственными. Пришел день, когда я вернулся на постоялый двор и хотел уже идти в свой номер, но меня оста-

новило восклицание Дэвиса. Он вручил мне письмо из Швеции от отца Юхана Акселя. Оказывается, мой родитель заболел. Двоюродный дядюшка выражался весьма осмотрительно, но никаких сомнений в действительном положении дел не возникало. После нелепой гибели старшего сына отец беспробудно пил. Мало кому удавалось увидеть его трезвым. В один прекрасный день он потерял сознание. Даже в забытьи отца трясла лихорадка, а когда его перенесли в спальню и раздели, обнаружилось, что ноги покрыты незаживающими ранами, про которые он никогда и никому не рассказывал. Дядюшка привел осторожные догадки об их происхождении: вероятно, отец по ночам в пьяном бреду бродил по комнатам и натыкался на предметы обстановки. Я не совсем понимал, но он так и написал: «предметы обстановки». Состояние особых надежд не внушает, и дядюшка обещал держать меня осведомленным.

Известие о смерти пришло уже со следующим пакетботом. Мне было не с кем поделиться печальной новостью, кроме Сетона. За время нашего знакомства я обратил внимание: Тихо Сетон избегает фамильярностей. Но в этот раз он изменил привычке, заключил меня в объятия и долго ждал, пока иссякнет поток слез. Когда его рубаха окончательно промокла, а я немного успокоился, он протянул мне носовой платок – вытереть лицо.

– Не лучше ли... – тихо и участливо произнес он, – не лучше ли вам переехать в Куль-де Сак?

Мысль оказалась настолько самоочевидной, что мы оба удивились: как не пришло в голову раньше? На следующий же день приехала телега с Ярриком на козлах. Мы быстро погрузили мой сундучок, я сунул в потную руку Алекса Дэвиса деньги и без малейшего сожаления покинул Густавию.

Трудно отыскать что-то особо привлекательное в Куль-де-Сак, но новое место показалось мне куда милее города. Особенно хороши были тихие ночи, пропитанные щедрым ароматом франжипани. Очень скоро я оценил и принятый хозяином распорядок дня. Огромные преимущества. В середине дня, когда жара становилась невыносимой, мы старались спать, а по ночам беседовали, наслаждаясь легким бризом с океана. И все же, все же... как ни старался Сетон, все равно я не мог видеть в нем равного: он представлял пока еще непонятный мир взрослых. А мне очень не хватало ровесника, и, само собой, мысли все чаще возвращались к Линнее Шарлотте. К Нее, как я ее мысленно называл. Тоскуя, я писал ей длинные письма, изо всех сил стараясь найти подходящие слова для выражения чувств.

Моя неумемная влюбленность и послужила причиной одного из немногих эпизодов, поколебавших мир и покой в Куль-де-Сак. Кто знает, вполне может быть: Яррик сделал попытку сойтись поближе и начал расспрашивать – как всегда, на своем чудовищном гортанном французском. От него не могло укрыться, как я часами брожу по двору, вздыхаю, возвожу глаза к небу или подолгу, не шевелясь, смотрю на василько-

вую гладь океана.

– *C'est l'amour?*

Читать на французском мне куда легче, чем говорить. Запинаясь и подбирая слова, я постарался описать предмет моей любви, и вдруг с неукротимым, как позыв на рвоту, отворачиванием заметил, что он поправляет брюки, оттопырившиеся в паху наподобие палатки.

Яррик, словно извиняясь, улыбнулся, показав испорченные зубы, а для меня мир погас. Я потерял зрение. Мир погас, его заслонила кроваво-красная пелена. Точно так, как после разговора с отцом или на корабле, когда я застал Юхана Аксея за чтением моих писем.

Очнулся я в плотных объятиях Яррика. На лице его вспухали алые следы моих ногтей, а правый глаз почти закрылся.

А из меня словно выпустили воздух. Я обмяк и даже не вырывался, хотя он держал меня довольно долго – желал, видимо, удостовериться, что я окончательно пришел в себя. Потом, явно борясь с собой, посадил на пол и быстро отошел – боялся, что я снова на него наброшусь. Только сейчас я заметил Сетона, который наблюдал за этой сценой с веранды с примерзшей трубкой в зубах. Он помахал Яррику – тебе лучше уйти – и жестом подозвал меня.

– Что это было, Эрик?

Я потупился и невероятным усилием удержал слезы стыда и раскаяния.

– Такое бывало и раньше, да? – спросил Тихо Сетон, и

в голосе его прозвучала тревога. – И потом вы ничего не помните?

Я кивнул и начал объяснять, как и что. И чем дальше он меня исповедовал, тем проще было рассказывать. Это было огромным облегчением – высказаться. Я и сам понимал: любовь к Линнее затрагивает какие-то темные струны в моей душе. Хотя объяснить, почему так происходит, мне не по силам.

Я говорил и говорил. Сетон слушал, не перебивая и не задавая вопросов, и когда я закончил, долго сидел в задумчивости, молча попыхивая трубкой.

– Все очень просто... – Он перешел на «ты»: – Ты не цельный человек, и странно было бы ожидать, что будешь вести себя как таковой. Ты не цельный человек, ты отдал сердце любимой женщине.

– И что мне делать?

Он выбил трубку, отложил в сторону и внимательно посмотрел на меня, сложив руки в замок.

– Если ты мне доверишься, я сделаю все, чтобы найти решение. А пока... поскольку ты потерял и отца, и брата, я хочу быть для тебя и тем и другим. Наполовину отцом, наполовину братом. А взамен попрошу только об одном: терпение и еще раз терпение.

И если я не мог подыскать слова, которые бы в достаточной степени соответствовали степени моей благодарности, то только потому, что впервые за все время на этом Богом

забытом острове почувствовал себя счастливым.

В ближайшие дни я заметил растущее беспокойство моего благодетеля. Он часто подолгу стоял и смотрел то на дорогу, то вглядывался в океанский простор – даже неопытному наблюдателю ясно: ожидает каких-то известий. Он наверняка не хотел затруднять меня своими заботами, но в конце концов все же поделился.

– Шильдт... Он должен был писать мне регулярно, но... Я прошу прощения, что не поделился раньше. Его предыдущее письмо было достаточно конфиденциальным, но, я думаю, тебе стоит его прочитать.

Я не без испуга принял листок. Письмо еще короче, чем обычно, и его содержание можно было передать двумя словами: предупреждение об опасности.

– Именно эти слова... мы договорились: он напишет именно так, если появится реальная опасность оказаться в руках врага. Мы не знаем, что произошло, может быть, все не так плохо, но мы не можем брать на себя такой риск. Нам надо исчезнуть. У них есть приемы, они могут заставить заговорить кого угодно. Остаться в Куль-де-Сак небезопасно.

Он быстро снабдил меня инструкциями, и уже через полчаса я скакал на коне Яррика в Густавию. Мне надо было оставить у Дэвиса письмо Юхану Акселю – если кузен все же объявится на Бартелеми и увидит, что Куль-де-Сак пуст, первым делом осведомится у Дэвиса, не оставил ли я ему

каких-либо известий. Дорога была слишком длинной, чтобы успеть за световой день доехать туда и обратно, поэтому я заночевал у Дэвиса и вернулся только на следующий день к полудню. Выехав на вершину холма, я оцепенел от ужаса: над усадьбой поднимался густой столб дыма.

Я что есть сил пришпорил коня, опасаясь худшего.

Но, оказывается, горели пустые бараки. Я въехал во двор и увидел Яррика с мокрым веником в руке. Он хлестал им по тлеющей траве, а в другой руке у него была кувалда, и как только выдавалась свободная секунда, он разбивал в пыль прилетающие то и дело головешки. В воздухе летали миллионы мучнистых мотыльков пепла. Сетон стоял поодаль со скрещенными на груди руками.

– Черт с ними... – Он постарался перекричать рев пожара. – Наверняка будущий владелец будет недоволен. Что ж, переживу. По крайней мере там никогда не будут держать в плену тех, кто рожден свободным. Пакуй свой сундук.

– И куда мы двинемся?

Он жестом подозвал меня, взял под руку и отвел подальше, где было не так дымно.

– Я много думал над твоим рассказом, Эрик. У меня есть предложение. Ты еще не совершеннолетний, но твой опекун может решать за тебя с тем же правом, что и почивший отец. Скажем, благословить твой брак.

От этих слов сердце перевернулось у меня в груди, но я тут же приуныл.

– У меня нет никакого опекуна.

– Если окажешь мне такую честь...

Я бросился Сетону на грудь.

– Тогда в Швецию! – воскликнул он весело. – К Линнее Шарлотте!

У меня голова шла кругом от счастья, я словно забыл, какой жестокий и холодный мир нас окружает. От счастья и от стыда. Я ничем не заслужил такую щедрость.

– Почему... почему вы делаете это для меня? Вы же многим жертвуете...

Мне показалось, он неправильно понял мой вопрос. Наверное, посчитал, что я его в чем-то подозреваю. В каких-то корыстных замыслах. Лицо его сделалось печальным, мне даже почудилось виноватое выражение. Он даже покраснел.

– Мне бы очень хотелось, чтобы предложение мое было совершенно бескорыстно, – сказал Сетон смущенно. – Признаюсь, мое стремление тебе помочь отчасти продиктовано стремлением помочь самому себе. Я состою в одном известном ордене... короче, не могу сказать, что расстался с моими братьями по ложе в мире и согласии. Мало того, пришлось покинуть страну. Но ты для ордена – большое приобретение. И если я вернусь с тобой и представлю, как будущего члена нашей ложи, думаю, сердца их смягчатся.

Я собрался было ответить в том же возвышенном духе, но случайно заглянул через его плечо и ахнул. Прекрасные франжипани срезаны, все кустики до одного лежали на зем-

ле, уже увядшие и побуревшие от жары. На их месте осталась довольно глубокая канава – видно, очень старались не оставить ни одного корешка, способного возродиться к новой жизни.

Сетон проследил мой взгляд и покачал головой.

– Неужели ты думал, что я оставлю своих любимцев? Чтобы они радовали какого-нибудь мерзавца рабовладельца, который купит Куль-де-Сак?

Бартелеми даже не замечал наших приготовлений. Колония процветала, и на Куль-де-Сак покупатель нашелся очень быстро. Мысль, что Юхан Аксель в плену, не давала мне покоя, но Сетон старался меня успокоить.

– Твой кузен очень умен, Эрик. Куда умнее нас двоих, вместе взятых. Оставь еще одну записку Дэвису. Нет... не просто записку. Приглашение на свадьбу! Повезет – будет твоим шафером на свадьбе.

Все было готово. В пасмурное, что большая редкость для Бартелеми... в то пасмурное утро мы стояли на берегу у трапа. Матросы на шхуне уже начали выбирать якоря. Казалось, уже ничто не связывает меня с островом... удивительно. Никого, ни единого человека, с кем мне захотелось бы сердечно попрощаться.

Я уже собрался взойти по трапу, как увидел Сэмюэля Фальберга.

– Значит, юный Эрик нас покидает.

– Да... вам-то я точно желаю удачи.

Фальберг и в самом деле был мне чем-то симпатичен. Как я про него забыл?

– Кстати... вы же натуралист, доктор Фальберг. – Я сунул руку в карман и, смущаясь, показал ему мои находки. – Может быть, вам известно, что это за камушки?

Он не сделал даже попытки взять их и рассмотреть.

– Да... – кивнул он, криво усмехнувшись. – Известно. Но я вовсе не уверен, что вы и в самом деле хотите узнать их происхождение. Вы же наверняка руссоист и разделяете его представление о *bon sauvage*¹⁶.

Я не стал возражать, потому что не понял, о чем он говорит, но все же попросил объясниться.

Фальберг пожал плечами: что ж, как угодно.

– Я провел много лет на Бартелеми. Тоже, как и вы, увлекался поиском необычных артефактов. То, что вы мне показываете, – находка весьма частая, особенно на прибрежной полосе в Каренаген. Я показал эти... предметы старикам на одном из соседних островов, и они нимало не удивились. – Фальберг сделал паузу и печально вздохнул. – Много... очень много лет назад на острове жило племя, которое называло себя *аруаки*. В один прекрасный день к острову прибыло на своих каноэ другое племя. После долгого плавания они были чрезвычайно голодны. Согнали аруаков, мужчин и юношей, на берег и... и утолили голод. Кромсали их тела, разводили в ямах костры, жарили и ели. Жарили и ели... пока не наелись. Девочек и девушек оставили на обратную дорогу. Их жарили в запас. Так что камушки, что вы собрали, – косточки несчастных аруаков. Позвонки, фаланги пальцев. А зазубрины... что ж зазубрины... следы зубов пришельцев. Обгрызали на совесть.

¹⁶ Благородный дикарь (*фр.*).

Я не знал, что сказать. Растерялся. Так и стоял с невинными камушками в протянутой ладони, пораженный их внезапно открывшейся мрачной тайной.

– Это еще что... – грустно произнес Фальберг. – Это *bon sauvage*, что с них взять... Вы же ни разу не были на сахарных плантациях, Эрик. Антильские острова – огромная человеческая бойня. И создали ее мы. Прибыль велика, а рабы так дешевы, что проще дать им умереть с голоду и купить новых. Прибывает новая партия, и им со всей сердечностью вручают лопаты, чтобы закопать товарищей по несчастью. Мужчины, женщины, дети... Полуразложившиеся тела, мягкий перегой. Весьма удобно, когда настанет черед хоронить следующую партию. И прекрасное удобрение для сахарного тростника.

Фальберг отвернулся, закрыл лицо руками и некоторое время молчал.

– А может, дикарь никогда и не был благородным? – без всякого выражения хрипло спросил он. – Мир стареет, но лучше не становится. Может, все наши успехи, то, что мы называем цивилизацией, – всего лишь способ довести злодеяния предков до нового, невиданного уровня? Здесь, на островах, мы выращиваем тростник на плодородной почве, щедро удобренной человеческой плотью. А потом сыплем сахар в еду, еда становится слаще. Спаси нас Бог, Эрик... что вряд ли, конечно. Мы не заслужили спасения. Не милосерднее ли поплыть в Африку и сожрать несчастных негров

на месте?

Плавание на Бартелеми показалось мне очень долгим из-за тоски по Линнее Шарлотте. Но нетерпеливое ожидание предстоящей встречи превратило обратный путь в истинную пытку. Пакетбот был точно такой же, как и тот, на котором мы плыли на остров. Или же настолько похож, что мне, даже тщательно обшаривая закоулки памяти, трудно припомнить какие-то детали, отличающие один корабль от другого. Сетон научил меня играть в карты. Мы часами лениво шлепали засаленными картами и беседовали. Его постоянный интерес к новому, его искренняя забота о моем счастье льстили мне и помогали скрасить невыносимо долго тянущиеся часы, дни и месяцы. Яррик был почти незаметен. Весьма странно. И трудно объяснимо, если учесть его внушительное телосложение и скромные размеры почтовой шхуны.

Кроме нас, пассажиров на шхуне не было, моряки держались особняком и старались не вступать с нами в разговоры. Сетон разрешил мне пользоваться его библиотекой. Я выбрал «Тысячу и одну ночь» в переводе Галланда и проводил довольно много времени с толстым французским фолиантом на коленях, подзаголовок которого не без труда перевел как «Злосчастье добродетели». Вполне возможно, автор имел в виду что-то другое.

Переход через Атлантику изрядно потрепал наш корабль,

и пришлось задержаться в Саутгемптоне для ремонта парусов и починки такелажа. Моряки часами, изо дня в день сидели на палубе, плели канаты и штопали грязные выгоревшие полотнища. Будучи бессилён что-либо предпринять, я написал письмо Линнее Шарлотте. Конечно, замечательно было бы самому возвестить о своем прибытии, но время шло, а конца работ не видно. Поэтому я решил послать письмо заранее с неким купцом, отправлявшимся в Гётеборг. Я долго мучился, слова никак не складывались, и Сетон долго наблюдал, как у меня под столом растёт ворох скомканных бумажек.

В конце концов я сдался и написал дрожащей рукой всего несколько слов: «Нея, я люблю тебя больше, чем когда-либо. Если ты согласна стать моей, прошу отца твоего о благословении». Отдельное письмо отправил ее отцу с формальным предложением руки и сердца и просьбой о благословении.

Ответ и от отца, и от Линнеи пришел в почтовом мешке с гётеборгской таможни. Она выразила свое безусловное согласие куда более красиво и изысканно, чем я. Ответ Эскиля Коллинга был более сдержанным, но, если читать между строк, сразу понятно: он очень рад.

На этот раз странную улыбку Сетона невозможно было отнести на счет иных чувств: это была именно улыбка. Он был заметно растроган.

– Что ж, Эрик, готовим пышную свадьбу.

Из Гётеборга Сетон написал множество писем, предназна-

ченных для более надежной сухопутной доставки, но уже через неделю наш пакетбот снялся с якоря, прошел Каттегат и взял курс на Стокгольм.

После бесконечного перехода через Атлантику и нескольких суток в карете я с волнением увидел на горизонте дом моего детства. Впервые за много поколений усадьбой никто не управлял. Никогда не думал, что мне придется стоять в отцовской библиотеке и смотреть на ворох бумаг, в которые отец за месяцы беспробудного пьянства даже не заглядывал. Долги надо оплатить, а что-то, наоборот, взыскать с должников. Если бы не Сетон, я утонул бы в этой чудовищной неразберихе. Он выказал самые отменные качества, которыми должен обладать ответственный опекун: сел за письменный стол, просмотрел счета, пометил приоритетные, разложил все в папки под тут же созданными рубриками, потянулся и сообщил, что ему нужно вернуться в Стокгольм. Во-первых, заказать все необходимое, без чего свадьба не заслуживает называться свадьбой, а во-вторых, передать в королевскую канцелярию просьбу дать разрешение на брак, невзирая на юный возраст брачующихся. Я в нерешительности топтался на месте. Куда делась решимость и радость, не покидавшая меня все время нашего долгого путешествия... Теперь, когда осталось сделать последний шаг, меня начали грызть сомнения.

Юный возраст брачующихся...

Сетон ловко взлетел в седло и несколько раз подергал по-

время – проверить, насколько послушен любимый конь покойного брата.

– Предоставь мне все хлопоты, Эрик. Беги же к ней! Ты так ждал этой минуты!

Он дернул поводья. Конь приподнялся на дыбы и рванул с места так, что через несколько секунд скрылся из глаз.

И все же сначала я пошел в нашу церковь – попрощаться с отцом, который уже почти год лежал под серой каменной плитой. Провел пальцем по высеченным на камне буквам, помолился за спасение и счастливое воскресение его души и попросил прощения за все разочарования, которые доставил ему за годы, что мы провели под одной крышей. И последняя просьба: дать разрешение на мой брак, которому он при жизни старался всеми силами воспрепятствовать.

Стояло теплое, яркое лето, в церкви было довольно жарко. Я стоял на коленях на каменном полу, и меня почему-то бил озноб. Печаль по отцу – да, разумеется; но как отделаться от горьких воспоминаний? Внезапно пришло сознание – один. Совершенно один. Раньше я почему-то об этом не думал. И тут же возразил сам себе: нет, не один. А Линнея Шарлотта? Она будет моей! Можно ли желать большего?

С бьющимся сердцем шагнул я на знакомую тропу. Все время поглядывал на знакомые, даже будто и не выросшие липы и клены, чья тень принесла мне когда-то столько счастливых минут.

Мне не надо было вспоминать дорогу – ноги несли сами. И принесли не на хутор Коллинга, а на лужайку у лесного озера, где мы так часто встречались. Приходили ранним утром и смотрели, как скопа, растопырив острые, как трезубцы гладиаторов когти, ныряет за рыбой. А по вечерам дожидались прихода лося. Огромный зверь держался поодаль, но куда спрячешь такие роскошные рога? Когда лось удалялся, мы бежали смотреть и хохотали: ни одного нарцисса. Ни единого! Подумать только: он приходил на эту поляну есть нарциссы! Оказывается, у лосей нарциссы – любимое лакомство. Иногда мы приходили сюда и ночью, полюбоваться на загадочный звездный мир.

Траву давно никто не косил, лужайка заросла так, что я не заметил Нею, пока не подошел совсем близко. Мелькнуло в летнем разноцветье белое платье. Она сидела, положив руки на колени и понуриив голову. Услышав мои шаги, вскочила – и вот мы стоим лицом к лицу, молча, не зная, что сказать. Кажется, не только я, но и она впервые осознала: прошел целый год.

И за этот год она очень изменилась. Немного похудела, выросла, особенно заметны стали высокие, четко обрисованные скулы. Я оставил девочку, а передо мной стояла юная женщина. Но волосы те же, медно-рыжие, как я их и запом-

нил, и веснушек не меньше, чем звезд на небе. А произошедшие перемены нимало не повлияли на ее красоту. Наоборот: оставленный мною клад вырос и стал еще ценнее.

Я не мог сдержать радостную улыбку, но тут же оцепенел, и льдинка в животе за несколько секунд выросла в целую глыбу: а я? После всего пережитого... что произошло со мной? Что она видит во мне? В зеленых глазах мелькнула искорка разочарования... или показалось? Ничего удивительного: уродливый мир Бартеlemi наверняка оставил след и на мне – разумеется. Никто, побывав в подобном аду, не может остаться прежним.

Она подошла поближе. Совсем близко, я кожей чувствовал ее дыхание. Подошла и после секундного замешательства подняла руку и погладила меня по щеке. И ее, и меня била дрожь.

– Это ты, Эрик? Это и в самом деле ты? – севшим до шепота голосом спросила она.

У меня потекли слезы. Я не мог сказать ни слова, только положил руку на теплую ладонь на моей щеке. Она тоже заплакала, и я задал вопрос, который не мог не задать, хотя горло сжимали ледяные пальцы страха.

– Нея... ты по-прежнему хочешь меня?

Она прижалась лбом к моему, откинув прядь рыжих волос, и весь мой мир окрасился в изумрудный цвет ее глаз.

– Да. Тысячу раз да.

Мы опустились на землю и сели, прижавшись друг к другу, будто мерзли, будто летнее расшалившееся солнце потеряло способность греть. И говорили, говорили... вспоминали минувший год. Год разлуки. Тени удлиннились, небо покрылось закатным румянцем, и мы рука об руку пошли через лес. В кронах деревьев, особенно кленов, уже притаилась ночь и время от времени показывала нам черный дымный язык. Ее родители приветствовали меня очень почтительно, как и подобает приветствовать владельца и единственного хозяина древней дворянской усадьбы Тре Русур. Но когда потемнели уже и верхушки деревьев, когда в преддверии ночи насторожилась вся природа, когда я пожелал моей любимой доброй ночи и собрался уходить, мать ее вышла со мной на крыльцо.

– Без вас... без вас она словно перестала жить. Поначалу лежала в постели дни напролет, уткнется носом в стену и лежит, не встает. Она нынче вечером сказала больше, чем я слышала от нее за весь год. Спасибо, Эрик, вы вернули нам дочь.

Поцеловала меня в щеку и поспешила в дом, заметно тронутая своими же словами.

Состоялось оглашение. Возражений не последовало, и без всяких формальностей назначили день свадьбы. Сетон был неутомим, все время в дороге, по два-три раза в неделю ездил в Стокгольм. Только самое лучшее, постоянно повторял он. Все должно быть самым лучшим, просто хорошее не годится. Нельзя сказать, чтобы я был чересчур усерден в благодарностях, поскольку почти все время проводил с Неей. Любопытно другое. По приезде мне показалось, что в усадьбе все изменилось за время моих странствий; я только постепенно сообразил: усадьба осталась прежней. Изменились мы. Теперь нас связал доселе неизвестный феномен: слово, данное Господу. Как невиданной силы магнит, он, этот феномен, притягивал новые и отталкивал привычные представления. Это было и сладко, и тревожно. Были и другие чувства, их не принято называть, но я подметил нечто похожее и у Неи. Я и сам знал, что не должен давать волю запретным порывам, но опасения мои подтвердил Сетон. Он отвел меня в сторонку.

– Нехорошо жениху и невесте постоянно уединяться в лесу. Ты же не хочешь вести невесту к венцу под шипенье сплетников.

И еще несколько раз напоминал:

– Нехорошо. Гуляйте там, где вас все могут видеть. И вос-

поминание о первой брачной ночи останется у вас на всю жизнь.

Я, признаюсь, смутился, даже почувствовал, что краснею, но совет нельзя не признать разумным. К тому же я очень скоро заметил, что на людях нам спокойнее и легче. Мы все время были на виду – но при этом старались держаться чуть поодаль, чтобы никто не слышал, о чем мы говорим. А говорили мы о будущем. Я прекрасно знал, что думает Нея: она боялась, что унаследованное мною имение повиснет гирей на ногах и в конце концов нас утопит. Я и сам так считал, пока не нашел замечательное решение.

– Нея, как ты думаешь: твой отец... сможет ли твой отец взять на себя управление имением? Тогда мы будем свободны, как птицы. Сможет делать все, что хотим. Посмотрим Стокгольм, а может, подадимся дальше на юг, в Сконе.

– Только если ты этого пожелаешь, Эрик. Я вовсе не хочу, чтобы ты ради моих капризов промотал наследство. Хочешь остаться – останемся. Попрошу сестер научить меня сплетничать и рукодельничать, буду смирной и послушной... насколько получится.

Я рассмеялся. Она говорила совершенно искренне, но я-то прекрасно знал ее характер, и был уверен: Нея – это Нея. И всегда будет Неей.

– Ну нет... я предпочитаю дикарок. Давай так и сделаем: предоставим Тре Русур заботам твоего отца. – Тут я помешкал, подыскивая нужные слова. – Нея... мне ни что не мило

в поместье, кроме тебя.

Она прижала мою руку к губам и долго не отпускала.

Я со все возрастающим нетерпением ждал дня, который должен был стать самым счастливым днем моей жизни. Меня разбудили очень рано. Солнце вставало медленно и неохотно, словно хотело продлить дни моей холостяцкой жизни. Согрели на плите воду, оттерли невидимую грязь, выкупали в ванне со специально заказанными ароматическими таблетками и приступили к туалету – приближался час венчания. Платье совершенно новое, я ни разу его не надевал. Камзол насквозь пропах щедро рассыпанной в сундуке лавандой.

Сетон долго осматривал меня с видом знатока. Он и в самом деле был знатоком.

– Многие гости на свадьбе принадлежат к тому ордену, о котором я тебе говорил, Эрик. Светские люди. И хотя я знаю, что истинно светские люди оценивают человека не по одежде, а по талантам и заслугам, но представь: внешний вид тоже важен. Все должны понимать: перед ними истинный аристократ. И не забудь уделить им внимание. Я понимаю, ты будешь поглощен только невестой, но очень прошу: *не забудь уделить им внимание*. – Он произнес последние слова так, что я мысленно увидел жирную черту, которой он их подчеркнул. – В церкви меня не будет, еще полно дел. Но весь остальной день я в твоём распоряжении.

Я поблагодарил его от всей души, прекрасно понимая, что любых слов недостаточно, чтоб отдать должное его поистине отцовской заботе.

У подъезда уже ждала украшенная венками карета, на козлах сидел не кто иной, как Яррик, в богатой лиловой livрее и с необычной гримасой на лице, которую при желании вполне можно принять за улыбку. Нас подвели к пастору, и Эскиль Коллинг сам вложил руку своей дочери в мою. Пока мы шли по проходу, белый шлейф Линнеи Шарлотты скользнул по надгробной плите отца, и мне почудился в этом маленьком непредусмотренном событии знак примирения и прощения.

Мы стояли, взявшись за руки. Я, мало что понимая, повторял за пастором слова брачного обряда. В церковь набилось очень много прекрасно одетой ликующей публики, то и дело слышались негромкие одобрительные восклицания, кто-то даже похлопал в ладоши, но мы ничего не замечали – ни я, ни Линнея.

Мы обменялись кольцами. Люди на руках вынесли нас на зеленый церковный холм, и все направились в Тре Русур, где предстояло пиршество. Нам сунули в руки бокалы, и я выпил вина, хотя и так был уже совершенно пьян от счастья. Первый поцелуй, которым мы обменялись как уже законные муж и жена, был скромным и кратким, предназначенными для посторонних взглядов, но во взгляде Линнеи я прочитал желание – точно такое же, какое уже много дней обуревало

меня самого. Скоро. Очень скоро.

Праздник набирал силу. Мы с Линнеей Шарлоттой сидели во главе почетного стола. Одно блюдо сменяло другое, но я не замечал вкуса. В моей душе не осталось места ни для одного из пяти известных чувств; я был переполнен счастьем. Говорились красивые, продуманные речи, но я не слышал ни слова: понимал только, что многих из говорящих вижу впервые в жизни, или смутно припоминал – да, этого человека мне представили нынче утром. Но господа эти были прекрасно одеты, остроумны и красноречивы; я никогда в жизни не видел более изысканного общества и был очень тронут их очевидным ко мне расположением. Пришлось пожать бесчисленное количество рук, а спина уже побаливала от дружеских похлопываний. По-моему, мне ни разу не дали увидеть дно бокала: не успевал я его осушить – тут же подливали: уже готовился новый тост. Голова волшебным образом кружилась, опьянение казалось обязательным условием охватившей меня эйфории. Сидевший рядом Сетон с очевидным вниманием следил, чтобы я не напился до положения риз; как только ему казалось, что я выпил лишнего, он тут же совал мне ароматические пастилки.

Наконец стол отодвинули, освобождая место для танцев; привезенные из города музыканты настроили свои скрипки – и начался настоящий шторм полек, кадрилией и менуэтов. Я все время смотрел на лицо Линнеи Шарлотты, на все более расплывающемся фоне я видел только ее лицо и старал-

ся не замечать уколы ревности: все хотели обязательно потанцевать с невестой. Конечно, кому не захочется пройтись в менюэте с *такой* невестой!

Мне почему-то стало очень смешно, я помню, что несколько раз засмеялся без всякого повода. Несмотря на освежающие пилюли, наступающий вечер опустошил мою память – ничего удивительного. После такого напряжения и такого количества вина.

Я проснулся, как от толчка, и меня окатила едкая волна стыда. Я даже боялся открыть глаза. Какой позор! Наша первая ночь! Но тут же льстивый голосок самоуспокоения подсказал: не беда. У нас еще много ночей впереди. Нея простит. Первая ночь – всего лишь первая из многих. Но почему такой жесткий матрас?

Я с трудом разлепил веки и обнаружил, что лежу на полу. С трудом, преодолевая сопротивление затекших мышц и боль во всем теле, сел.

Сначала мне показалось, что вся спальня усыпана лепестками темно-бордовых роз – очередное пожелание счастья. Я нехотя потянулся за одним из них, но лепестка не обнаружил, а на пальцах остались липкие следы того же самого, глубокого красного цвета. Я тут же обнаружил, что не только пальцы, но и все мое голое тело в таких же пятнах. Вскочил на ноги и сорвал покрывало. Ее кожа была белее простыни, а лицо... лица не было. От высоких скул, от волшебных веснушек осталась только бесформенная окровавленная маска, на которой застыло выражения последнего ужаса. Из открытого в немом отчаянном крике беззубого рта вывалился синий опухший язык. Закатившиеся глаза без зрачков. Еще несколько часов назад она была полна жизни, а сей-

час более всего напоминала выброшенную тряпичную куклу. Кровь повсюду – на обоях, на полу, даже на потолке. На животе и бедрах – желто-белая пленка, как будто живот обработали лаком, а лак успел не только высохнуть, но и покрыться кракелюрами, как на старинных полотнах.

Я отчаянно закричал, начал трясти ее, не отрывая глаз от изуродованного лица, будто надеялся вдохнуть жизнь, вернуть похищенное смертью тепло.

Очнулся я в железных объятиях Яррика. За его спиной стоял Тихо Сетон с таким выражением, будто он не верит своим глазам.

– Эрик, Эрик, – прошептал он с отчаянием. – Эрик... что ты натворил?

Я не переставал кричать. И сейчас я кричу, хотя губы мои плотно сжаты. Никто не слышит моего крика, но я-то слышу. Хриплый и отчаянный, он звучит у меня в голове непрерывно. С той ночи я кричу, не переводя дыхания.

Сетон делал все, что требовалось, а я... я словно потерял собственную волю. Они с Ярриком поставили меня на ноги, увели из спальни, которую я своими руками превратил в могильную яму, положили в ванну и долго отмывали. Оказалось, что в ночном побоище пострадал и я. Разогнуться я мог только сжав зубы, к тому же сильно болел и кровоточил задний проход – это я понял, только когда вода в ванной стала розовой от крови. Со временем боль поутихла, но не прошла; я пишу эти строки и чувствую ее глухой безжалостный пульс. Каждый поход в туалет – восхождение на Голгофу. Наверное, она защищалась, но силы были неравны... о Господи... я больше не могу. Я не выдержу...

Весь тот день я просидел в ванной. Оказалось, что и мое тело покрыто странной желтоватой высохшей слизью, которую долго отскребали – не помню, кто. Время от времени приносили горячую воду, раз за разом намыливали голову, смывали и снова намыливали. Яррик оказался незаменим: с невероятной для его телосложения гибкостью и, я бы даже

сказал, нежностью он состриг мне ногти – черные, но не от грязи; о, если бы они были черными от грязи!

Ногти были черными от свернувшейся крови.

К вечеру вернулся Сетон. Они с Ярриком завернули меня в одеяло и отнесли в комнату, которая когда-то служила спальней отца. Помню, пришла в голову какая-то совершенно ерундовая мысль, и я с ужасом мысленно воскликнул: «О чем ты думаешь?» И не смог ответить. Я не думал ни о чем.

Сетон не отходил от моей постели. Сидел с книгой в руках, время от времени поправлял одеяло. Прошло немало часов, прежде чем я пришел в себя настолько, чтобы спросить:

– Что произошло? Скажите мне, скажите... это был кошмарный сон?

Он отложил книгу и взял меня за руку.

– Успокойся. Тебе нельзя волноваться. Мы позаботились обо всем. Гостей, оставшихся на ночь, отправили домой – все они мало что соображали с похмелья. Спальню отскоблили, белье сожгли.

Я с ужасом приготовился задать еще один вопрос, но он меня опередил.

– Она в погребке. Мы завернули ее в простыню и отнесли в погреб. На то короткое время, что ей осталось провести на земле, Линнея Шарлотта в безопасности. Луи запер дверь на цепь и замок. Никто ее не видел. Гости уверены, что она еще спит. К тому же они обессилены ночными излишества-

ми и вовсе не настаивают, чтобы им дали возможность попрощаться с хозяевами.

Я разрыдался. Все, на что я был способен, – раз за разом повторять один и тот же вопрос: «Что произошло?» Голос мой звучал, как писк новорожденного.

– Я порасспрашивал... осторожно, разумеется, как мог. Кто-то видел начало ссоры. Линнея Шарлотта попробовала поведать тебе о некоем молодом человеке, к которому она испытывала нежные чувства в твое отсутствие. И ты пришел в ярость. Такое ведь было и раньше, да? Я знал, конечно, про твои вспышки ярости, но даже предполагать не мог, что... – Он в недоумении повел плечами и сделал паузу. – Эрик... ты не совсем здоров. Не стоит возлагать на себя вину за то, что случилось. Виновен не ты, виновна твоя болезнь. Умопомешательство необычного свойства, над которым ты не властен. Но не волнуйся, я знаю людей, которые могут помочь. Я уже послал письмо. Завтра мы уезжаем.

– Куда?

– В Стокгольм. Данвикен. Если где-то тебе и могут помочь, только там.

– Дом умалишенных?

– Нет-нет, не пугайся. Не дом умалишенных, а госпиталь. Своего рода дом призрения с лечением. В дом умалишенных направляют, только когда нет никакой надежды.

Записи мои подходят к концу. Больше мне нечего сказать.

Ни один курс лечения не помог. Временное облегчение – самое большее, чего удастся достигнуть. Если, конечно, называть тебаику облегчением. Я все время думаю о словах Сетона перед отъездом из Тре Русур. Что это было? *Тебе могут помочь...* Наивная надежда... нет, помочь мне не может никто. Это выше человеческих сил. Кошмары все чаще и страшнее. Я стал мочиться по ночам. Белье, конечно, меняют, но запасных матрасов в госпитале не предусмотрено, и влажная солома гниет, отравляя и без того спертый воздух.

Сегодня приходил Сетон. Подмышкой у него был деревянный ларец. Он устроил его у своих ног и сел.

– Я знаю, что у тебя были гости, Эрик. Всего несколько дней назад. И знаю, что эти гости задавали тебе вопросы. Много вопросов.

Я кивнул. Голова была ясная – тебаику мне не давали с начала недели.

– Время нас поторапливает, – озабоченно произнес Тихо Сетон. – Похоже, эти господа вознамерились вытащить тебя отсюда и лишит меня всякой возможности о тебе позаботиться.

– Если они служители Фемиды... что ж, разве я не заслужил любого, самого строгого наказания?

Сетон тряхнул головой. Во взгляде мелькнуло совершенно нехарактерное для него выражение, которого я никогда ранее не видел.

– Не говори так. Никогда так не говори. Ты не заслужил никакого наказания, потому что вины твоей в произошедшем нет. Не ты, а твоя болезнь убила Линнею. А если ты попадешь в лапы полиции, они не станут принимать во внимание это немаловажное обстоятельство. *Не ты, а твоя болезнь.* Им важно выполнить свои квоты. А болезнь... запомни, Эрик, во всем виновна твоя болезнь, и не ты, а она понесет заслуженное наказание, когда мы тебя вылечим.

Он прокашлялся, поднял ларец и поставил на колени.

– Все твои врачи потеряли надежду. Но не я. Я искал неустанно, в нашей стране и за ее границами, и, как мне кажется, нашел. Некий господин, подданный Франца Второго¹⁷. Медикус с редкостными заслугами и с огромным опытом, который включает и такие случаи, как твой.

Он сделал паузу, словно сомневаясь. Погладил богатую инкрустацию ларца.

– Но ты должен понимать... предстоящее лечение несколько... как бы это выразиться... драматично. Но я уверен: это единственная наша надежда. Важно одно: добиться облегчения.

Я безнадежно покачал головой – наверное, еще какой-нибудь образцово горчайший и столь же образцово бесполезный декокт.

Сетон придвинулся поближе и с загадочной миной отки-

¹⁷ Франц II – последний император Священной Римской империи, годы правления 1792–1806.

нул крючок. Ларец изнутри был обит темно-синим бархатом, а на нем в идеальном порядке лежал набор блестящих инструментов, каждый закрепленный сутажным шнурком в специально под него сформированном углублении.

– Вот этим сверлышком сверлят дырку на темени, чуть выше линии волосяного покрова.

Он осторожно вынул инструмент из своего гнезда и протянул мне. Я поднял сверло к свету – идеально отполированная сталь, без единого дефекта или пятнышка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.